

ЕВГЕНИЙ

ЧЕШКАСОВ

# ПРЯДА



ЕВГЕНИЙ ЧЕПКАСОВ

# Триада

«ЛитРес: Самиздат»

2014

## **Чепкасов Е.**

Триада / Е. Чепкасов — «ЛитРес: Самиздат», 2014

Автор считает книгу «Триада» лучшим своим творением; работа над ней продолжалась около десяти лет. Начал он ее еще студентом, а закончил уже доцентом. «Триада» — особая книга, союз трех произведений малой, средней и крупной форм, а именно: рассказа «Кружение», повести «Врачебница» и романа «Детский сад», — объединенных общими героями, но вместе с тем и достаточно самостоятельных. В «Триаде» ставятся и отчасти разрешаются вечные вопросы, весьма сильны в ней религиозные и мистические мотивы, но в целом она не выходит за рамки реализма. Это умная, высокохудожественная книга о современности как для широкого круга читателей, так и для эстетов.

## Содержание

Об авторе и о книге	6
I.	8
Круг первый. Сумерки	9
Круг второй. Вечер дня	16
Круг третий. Ночная темнота	21
Вне кругов. Свет	32
II.	33
Неделя первая	34
Неделя вторая	49
Неделя третья	66
Конец ознакомительного фрагмента.	74

# Евгений Чепкасов

## ТРИАДА

*Посвящается моим родителям.  
Автор*

**Кружение. Рассказ**  
**Врачебница. Повесть**  
**Детский сад. Роман**

## Об авторе и о книге

### Об авторе

Евгений Валерьевич Чепкасов. Родился в городе Пензе в 1978 году, живет и работает в Санкт-Петербурге. Писатель, литературовед, этнограф, специалист по рекламе и связям с общественностью, член Союза писателей России, кандидат филологических наук, доцент. Автор книг «Бухта Барахта» и «Триада», художественных публикаций в журналах «Наш современник», «Сура», «Волга» и др., коллективных сборниках «Молодой Петербург», «Молодая пензенская проза» и др. Лауреат Всероссийского конкурса молодых прозаиков (Переделкино, 2004), лауреат Международного фестиваля «Одигитрия» в номинации «Поэт» (Витебск, 2007, 2010, 2013), лауреат премии литературного журнала «Сура» в номинации «Проза» (Пенза, 2009), обладатель гран-при премии им. А.И. Куприна «Гранатовый браслет» (Пенза-Наровчат, 2010), Всероссийской премии им. М.Ю. Лермонтова (Тарханы, 2012). Автор многочисленных научных публикаций, в частности, монографий «Художественное осмысление шаманства в произведениях Ю.Н. Шесталова» (Ханты-Мансийск, 2007, 2012) и «Творчество Ф.М. Достоевского в школьном изучении» (Санкт-Петербург, 2008), а также Интернет-курса «Малые шедевры великой русской прозы» (2013).

### О книге

По мере написания составные части книги «Триада», т.е. рассказ «Кружение», повесть «Врачебница» и роман «Детский сад», – публиковались в журналах «Сура», «Наш современник», коллективном сборнике «Молодая пензенская проза» и были отмечены литературными премиями, а также рецензиями критиков. В 2012 г. книга была издана в Санкт-Петербурге малым тиражом, который быстро разошелся, а в 2014 г. переиздана в Торонто (Канада). Таким образом, перед вами уже третье издание книги «Триада». За эту книгу Евгению Чепкасову была присуждена Всероссийская Лермонтовская премия (Тарханы, 2012).

Вот как оценивают книгу писатели-читатели:

**Андрей Воронцов, писатель** (о «Хромающем человеке» – повести, состоящей из «Кружения» и «Врачебницы»): «Перед нами действительно «петербургская повесть» – мистическая, глубокая, написанная «кровью души», с сильным влиянием образов Достоевского, но совсем не эпигонская, а напротив, творчески развивающая идеи великих писателей «петербургского периода» нашей литературы. А мы, если говорить честно, уже соскучились по значительным произведениям, созданным в Петербурге».

**Ефим Сорокин, писатель**: «Роман «Детский сад» – голос настоящего прозаика. Богатство языка и литературных приемов позволяют Чепкасову рисовать образы тонко и глубоко. Большой плюс романа – отточенная форма (а форма, как известно, это тоже содержание). В литературной ткани произведения персонажи живут, будто в Иерусалиме: все верующие. Здесь и православные, и свидетели Иеговы, и эзотерики, и атеисты. Здесь любого можно спросить: в чем твоя вера? И получить вполне вразумительный ответ».

В заключение приведем фрагмент *вступительного слова автора* из первого издания:

*Книга «Триада» значит для меня очень много. Я писал ее десять лет. Эти десять лет во многом прошли под знаком «Триад», и некоторые события, происходившие со мной и моими знакомыми в этот период, так или иначе отразились в книге. Некоторые события жизни влияли на сюжет, и некоторые события сюжета влияли на жизнь. Кое-что я проверял жизнью, чтобы написать достовернее, а кое-что прописывал, чтобы не проживать в реальности. Но гораздо больше событий случалось со мной помимо моей воли, и именно они коренным образом влияли на то, чтобы книга «Триада» была написана. <...>*

*Я мистик, и «Триада» – книга мистическая. Речь идет не столько о ее содержании, сколько о том, какая длинная цепь случайностей сделала возможным ее появление на свет. Кто-то прикладывает руку к тому, чтобы такие цепочки возникали, – я в это верю. И теперь книга – в ваших руках. Случайно ли это?*

# I.

## **КРУЖЕНИЕ** **рассказ**

*В сумерки, в вечер дня,  
в ночной темноте и во мраке.  
Притчи Соломоновы 7, 9*

## *Круг первый. Сумерки*

Вообще-то сумерки страшны: они полупрозрачные, студенистые, вязкие – как дохлая медуза. Падая на город, медуза вытесняет воздух, и людям поневоле приходится дышать ее клейстерным телом. В прятные летние сумерки некоторые умирают от удушья. Лица таких умерших искорежены ужасом...

Но описываемый сумеречный момент случился зимой, и было морозно. К тому же дядя Паша не боялся медузы: однажды летом, оголодав, он принялся жадно хапать ртом медузий студень, и голод отступил. А зимой медуза колкая и невкусная – зимой медузой не поужинаешь.

Дядя Паша озирает людей на троллейбусной остановке, и ему представлялось, что вот сейчас смерзнется медуза, и все они застынут, словно прошлогодняя жухлая трава во льду. Однако это не пугало, а веселило дядю Пашу, и он беззаботно бил оземь мягкой пятой серого валенка.

Людно на остановке, но около дяди Паши будто магический круг очерчен – пусто. Какой-то малыш сквозь варежку тычет пальчиком в центр загадочного круга, а мама зажимает пальчик в шерстяной кулак и что-то шепчет на ушко. Шепчет она долго и вдохновенно, сочиняя, вероятно, сказочку про то, почему никто не подходит к тому человеку, почему он постоянно морщит лоб и бьет ногой о снег и почему один глаз его скошен к носу. Оробевший малыш спрятал лицо в лисьем меху маминой шубы, и женщина улыбнулась: есть теперь, кем пугать непослушного.

Пока мама шептала что-то успокоительное и ободряющее, дядя Паша бочком, бочком, вывертывая одну ногу, подошел к некоему пареньку и, чуть нарочито пуская слюни, попросил оставить докурить. Паренек неторопливо сделал две затяжки и отдал сигарету, брезгливо глядя на слюну, застывшую на щетине подбородка просителя.

Как только дядя Паша докурил бычок до фильтра и поперхнулся едким дымом тлеющей ваты, подполз долгожданный троллейбус. Ехать дядя Паша никуда не собирался, а погреться бы не мешало – вот он и полез в троллейбус, набычившись и тяжело, надсадно мыча. Кучка народа у дверей миглом раздалась, внутри машины гадливо потеснились, и дядя Паша, перестав мычать, свободно поместился. «Идет коза рогатая... Му!» – что-то в этом роде подумал дядя Паша и тоненько захихикал, когда двери с лязгом съехались.

Оттотулив губы, дядя Паша жарко дышал на овальное стекло двери, отодвигался посмотреть, как волнисто плавится лед, и снова дышал. А в его голове на разные лады пели козлы.

\* \* \*

Окна троллейбуса были плотно обиты белыми ветвями папоротника – совсем как крышка гроба. Кто-то процарапывал глазки в ледяной флоре и получал возможность судить о внешнем мире, но таких любопытных было немного. Троллейбус, обычно весьма прозрачный и бесхитростный, нынче решил поскрывать и мягко плыл по сумеречному городу, везя в себе неизвестный мир.

Над головой дяди Паши зашипело, затрещало, и ржавый голос проскрежетал: «Роддом». Отверзшаяся дверь легонько пнула дядю Пашу, произошла обычная людская перетасовка, и он, проворно поднырнув под поручень, оказался в лучшем местечке троллейбуса (местечко с трех сторон ограничено задним окном, стенкой и поручнем; это тишайший затон при любом многолюдстве). Как не позавидовать дяде Паше?.. Сам он был совершенно счастлив.

Кстати говоря, не он один пребывал в веселейшем расположении духа: неподалеку кучковались четверо пареньков и уж так смеялись... Они казались ровесниками – шестнадцатилетними или около того; чтобы засмеяться, им было достаточно взглянуть друг на друга, а

уж когда рядом возник дядя Паша... Впрочем, они очень старались сдерживаться, один даже зажимал нос, и оттого его прорывающийся смех был похож на чиханье, а другой всё приговаривал: «Тихо, парни: палимся!»

– Доброго здоровья, дядя Паша!

Дядя Паша вздрогнул, поскольку голос раздался у самого уха. «Опять встретились! – подумалось ему. – Часто...»

– Вот и опять встретились! – жизнерадостно воскликнул человек в дубленке, незаметно протиснувшийся к дяде Паше сквозь людскую гущу, и сжал его правое предплечье в том месте, где фуфачный рукав продран и видна вата (дядя Паша гордился этим рукавом, особенно когда тянул руку за милостыней: тянет руку, а рукав продран и вата видна).

– Часто... – сказал дядя Паша, чуть погрузнев, наморщил лоб еще сильнее и пнул фанерную стенку троллейбуса.

– Не рад, что ли? – недоверчиво полюбопытствовал человек в дубленке.

– Сам знаешь. – Дядя Паша хапнул побольше воздуха и стал медленно выдыхать в стекло, едва не касаясь его губами.

– Рад, рад... – поспешно заключил человек в дубленке. – Хоть ты и злой стал с тех пор, а вижу – рад!

Дядя Паша негромко, страдальчески замычал.

– Ведь тебе как этим паренькам тогда было, столько же? Ладно, прости, не буду напоминать, прости...

Лед под дыханием дяди Паши плавился.

– А ведь мне сейчас любопытная мысль в голову пришла. Лет шестнадцать назад ты бы заревел от восторга, ты любил такие мысли, философствовал всё... Короче, слушай. В троллейбусе люди говорят так же свободно, как наедине. Других они считают чем-то вроде мебели. Ведь любопытно же! Здесь можно подслушать гораздо больше, чем, к примеру... я уж не знаю, где. И открыто, без ухищрений! Как тебе, дядя Паша?

Дядя Паша сосредоточенно дышал в стекло. Человек в дубленке резко припал к его уху и быстро зашептал:

– Почему ты на меня злишься? Я же тебя растормошить хочу, а ты злишься... Ведь я интересные вещи говорю, а ты не дурак, ты ведь отличником был – зачем злишься? Посмотри на тех пареньков: они же не просто так хохочут. Нарики, накурились травки и ну ржать! Послушай, у них сейчас разговор любопытнейший... Слушай!

– Ну прям, любопытнейший! – скептически произнес один из смехачей.

– Это ты к чему? – поинтересовался второй.

– Да вот, сказал кто-то, что у нас разговор любопытнейший.

– Ты гонишь! – убежденно заключил второй. – Докажь ведь, Леш. Ну вот... Так что ты, чувак, совсем. Тебя глючит уже. Кто мог сказать – этот бомж, что ли? – И паренек заразительно расхохотался.

Остальные зараженно заржали следом, но третий (Леша, которого просили доказать, что никто ничего не говорил) вдруг замолк и прошептал страшным шепотом:

– Тихо, парни: палимся!

– Палимся! – передразнил четвертый. – А кто всех зазвал в троллейбусе покататься? Палимся, ха-ха-ха!

Пугливый хохот вновь чертиком проскакал по головам парнишек и притаился. Они продолжили переговариваться.

– А знаете, парни, где сегодня самая крутая тусовка?

– Где всегда...

– Нет, сегодня в церкви.

– В натуре: сегодня в полночь там все наши соберутся.

– Прикиньте, парни, дискотеки позакрывают, тусоваться разрешат только в церкви. Прикиньте, колокольный звон такой, диджей Поп и все пляшут, отрываются...

– Не хрена гнать: Бог накажет.

– Вообще-то, правильно. Не зря же в фильмах показывают монстров всяких из ада или там как душа убитого ходит и всех мочит. По ходу, есть Бог.

– Ну вот и не хрена гнать.

– Не, я понять хочу, как меня Бог наказать может. Демоны, что ли, сюда припрутся и сожрут? А?

– Ну охота вам базарить о таком бреде?

– Не, я понять хочу.

– А что, пойдем сегодня в церковь!

– Пошли. Там все наши и диджей Поп – прикольнемся.

– Ты, Леш, с нами?

– Нельзя мне, я некрещеный.

– По хрену, я тоже некрещеный. Есть здесь крещеные? По ходу, никого... Серый, фиг ли ты тогда: «Бог накажет...»? Пошли-пошли, подзарядимся божественной энергией...

– Подзарядимся... Ха-ха!

– Ха-ха-ха!

– Тише, парни: палимся!

Пареньки ненадолго примолкли.

– Вот такие дела, дядя Паша... – прошептал человек в дубленке. – Страшно это, страшно...

– У них бесенок по макушкам скачет, – заинтересованно заметил дядя Паша. – Как обезьянка – и мордастенький такой...

– Это бывает, дядя Паша. Это ничего...

– Он их съесть хочет... Пускай, нечего смеяться... Хвостатенький...

Внезапно салон троллейбуса пропитался мутным унылым светом; желтоватенький свет чем-то напоминал дешевые столовские щи. Кое-где в продолговатых светильниках, грязных изнутри, не хватало лампочек, и такие их участки были омертвело-темными. Светильники эти всегда казались дяде Паше живыми – кем-то вроде светляков, которыми унизаны травинки в болотистой местности. Вообще, дядя Паша мало кого жалел, а вот троллейбусных светляков с омертвелыми темными телами ему было жаль – хоть плачь. Он был уверен, что их придавили.

Дядя Паша порывисто обернулся. В одном из светильников, видных ему, не хватало лампочки, и дядя Паша, болезненно скривившись, уткнулся в слепое окно.

– Светляков жалко? – участливо поинтересовался человек в дубленке.

– Подранок есть, – сказал дядя Паша. – А остальных не тронули. Может, оклемаются...

– Не понимаю я тебя: светляков тебе жаль, а к людям равнодушен. Их вот, к примеру, бесенок собирается сожрать, а тебе всё равно.

– Они пусть сами думают... Им весело, а подранку больно... – И тут он вдруг насмешливо глянул в лицо собеседнику, будто разгадал какую-то каверзу. – Зачем ты?.. Ведь людей здесь не-эт!..

– Странный ты, дядя Паша, – задумчиво молвил человек в дубленке. – Но я тебя люблю. После этого он надолго замолк.

– Задняя площадка, оплачиваем свой проезд! Проездные предъявляем! Вижу... Студенческий с собой? Вижу... Я вас немножечко потесню... Хорошо. У вас что? Два? Вот сдача. Вижу...

Кондукторша продвигалась неторопливо, энергично и неумолимо – как ледокол. Приходилось только удивляться, каким образом ее массивное полногрудое тело проникает сквозь людские дебри. Словно космическая ракета, кондукторша разогрелась от трения: ее мясистое

лицо взмогло, и она, приостановившись на мгновение, отлепила ото лба прядь русых волос и упрятала под шарообразную шерстяную шапку.

– У вас что? – обратилась она к четверке смешливых пареньков. – Предъявляем, не ждем.

Смехачи переглянулись, будто не понимая, чего от них хотят, и внимательно посмотрели на кондукторшу.

– А чего она такая потная? – поинтересовался один и тотчас же зажал нос пальцами, запирая подкатившее хихиканье.

– Из бани, – предположил другой и расхохотался.

– С легким паром! – поздравил третий сдавленным голосом и заржал.

Четвертый ничего не смог вымолвить, он лишь уперся лбом в заиндевелое стекло и затрясся, как от рыданий. Его лицо перехватило судорогой, точно невидимой повязкой, которую всё затягивали и затягивали.

На счастье пареньков, троллейбус остановился, двери разъехались, и они, не сговариваясь, сиганули вон и уже на остановке корчились от хохота, будто их кто под дых ударил.

– Вот ведь хулиганье! – возмущенно воскликнула кондукторша и, погладив хвост талонной ленты, спросила убыстрившимся и поглубевшим голосом: – У вас что?

Дядя Паша с важностью достал из кармана фуфайки проездной и предъявил.

– Школьный?! – прошипела кондукторша, пятнисто краснея и утирая пот. – Сколько тебе лет-то, школьничек?

– Шестнадцать, – спокойно ответил дядя Паша и убрал проездной.

– Не, вы гляньте! – чуть ли не завопила она. – Шестнадцать лет ему! Бесстыжий! Да тебе два раза по шестнадцать, ты мне ровесник!

И тут странное выражение проявилось на гневном, разгоряченном лице женщины. Она замолчала, чуть ухмыльнулась, и дяде Паше показалось, что, прежде чем уйти, она подмигнула ему. У человека в дубленке кондукторша проездного не спросила.

– Действительно, странно... – задумчиво пробормотал человек в дубленке. – Зима, а она потеет... Почему ты, кстати, сказал, что тебе шестнадцать? – спросил он, точно спохватившись.

– Не знаешь как будто! – проворчал дядя Паша, болезненно скривившись. – В шестнадцать я умер. Жил-жил и умер. А то, что взрослый теперь, – это мне наказание.

– Извини, дядя Паша, я запомнил, – с серьезным сожалением молвил человек в дубленке.

А дядя Паша, оттопулив губы, жарко дышал в стекло, отодвигался посмотреть, как волнисто плавится лед, и снова дышал. Он почти улыбался, мысленно перебирая цветные лоскутки воспоминаний о детстве.

\* \* \*

– За тетю Ма-ашу... Молодец! За дядю Серё-ожу... Умничка! За бабу Ка... Не хочешь за бабу Катю? Как не стыдно – она тебя пирожком угощала... Давай-ка, родной! За бабу Катю... Вот так. А последнюю ложечку за мамочку, за ма-амочку... Вот и покушали, а говорил не съешь. Утри ротик!

Мамочка счастливо улыбалась и, откинувшись на спинку стула, наблюдала, как Пашенька утирает ротик белой матерчатой салфеткой и обеими ручками отодвигает тарелку с крупинчатыми мазками манной каши на бледно-голубом орнаменте. Иной раз, глядя на сытого сынулю, мама плакала спокойными, привычными слезами – не задыхалась, не била себя в грудь, не всхлипывала даже, а лишь плакала и улыбалась. Мама никогда не предлагала Пашеньке ложки за папочку, а тетя Маша, и дядя Сережа, и бабу Катя были всего лишь соседями по коммуналке – хорошими, правда, соседями. Они жалели мамочку, предлагали что-то, непонятное

Пашеньке, – познакомить ее с кем-то, но она отказывалась и только плакала, глядя на сытого сынулю.

Этот лоскуток воспоминаний о детстве был белым – цвета манной каши и салфетки.

Прикрывая ладошками клетчатые листки бумаги, дети слюнявили цветные карандаши и напряженно рисовали что-то, скрытое ото всех. Закончив, они крепко прижимали рисунок к груди и бежали к воспитательнице – главному цензору и искусствоведу. А та хвалила – почти всегда хвалила, разве что могла обмолвиться иной раз, что трехногих собак не бывает. И вдруг она вскочила со стула с каким-то рисунком в руках и гневно воскликнула:

– Смотрите, дети!

Пашенька, как и остальные детсадовцы, посмотрел: оказалось, что один мальчик черным карандашом начертил большую загогулистую свастику.

– Смотрите, дети! – гневно воскликнула воспитательница и разорвала рисунок. Позже Пашенька думал, не договорилась ли воспитательница с тем мальчиком: ну кому захочется по собственной воле изображать свастику?

Сам Пашенька рисовал хорошо. Особенно ему удавались богатыри: на коне, с мечом-кладенцом или копьем, они кололи драконов в брюхо или рубили им головы. Воспитательница не раз поручала Пашеньке копировать простенькие рисунки из какой-то заветной книжечки, что было очень почетно. Один из них хорошо запомнился: воздушный бой, фашистский самолет, разорванный взрывом надвое, словно он был бумажным, и наш самолет-победитель. Пашенька скопировал всё очень похоже и тщательно закрасил клетчатое небо голубым карандашом, хотя этого и не требовалось.

Когда детсадовцев выводили на прогулку, Пашенька часто смотрел в небо каким-то вопрошающим взглядом. Затем его забирала мама. Она уже не плакала непонятно о чем, а подолгу молилась.

– Эх, ушла бы я в монастырь, да на кого я тебя, родимого, оставлю? – иногда тихо говорила она, поднимаясь с колен. – Мой грех в монастыре отмаливать надо!

Это лоскуток воспоминаний о детстве был голубым – цвета неба, нарисованного и настоящего.

А небо было всё тем же – голубым и нестерпимо ясным. Голые деревья, росшие вдоль дороги, окунали в него ветви и походили на дворницкие метлы. Деревья орали по-грачиному. Паша семенил ножками, держась за мамину руку, задира голову и слушал грачей. Дорога вела в церковь.

Наконец на ликующем небесном фоне прорезался тусклый позолоченный купол, и он показался Паше каким-то несчастным, обездоленным. Внутри храм был того же цвета, что и купол, – золоченым, но словно вылинявшим, а бледновато-желтые священнические ризы выглядели довольно поношенными.

Но началась служба, и всё для Паши преобразилось: слова молитв, как сказочные заклинания, превратили унылую церковь в чудесный дворец, окружающее стало величественным и чарующим. «Так вот куда меня мама привела! – восхищенно подумал Паша. – Здесь хорошо и весело, это всё равно, что смотреть на небо...»

Служба закончилась, прихожане поцеловали крест и тихо разошлись. Неумело крестясь и кланяясь храму, Паша заметил, что купол с восьмиконечным православным крестом сияет ярко-ярко в лучах солнышка. Мальчик улыбнулся понимающе-хитровато и пошел восвояси вслед за мамой.

– Ма, а церковь грустная, ненарядная такая – это ведь для маскировки? Ну, как на войне, чтобы враги не заметили? – все приставал он дорогой, и мама, улыбнувшись, согласилась.

Раньше мама лишь крестила Пашу на ночь, а в тот день он прочитал «Отче наш» и «Богородицу», повторяя вслед за ней. Лежа в постели, мальчик сквозь ресницы смотрел на колено-преклоненную маму и думал, что вот сейчас она поднимется и вновь прошепчет про свой грех и про монастырь. Но она поднялась молча, со следами от слез и потушила настольную лампу.

«Я уйду в монастырь и буду молиться за тебя, мама!» – подумал вдруг Паша и тихо заплакал.

Этот лоскуток воспоминаний о детстве был желтым – цвета церковного купола и солнышка.

– Я, пионер Советского Союза... – начала вожатая громко и сурово.

– Я, пионер Советского Союза... – хором повторили дети, выстроенные на мощенной булыжником площади. Было что-то жутковатое в этом хоровом «я».

– ...перед лицом своих товарищей торжественно обещаю... – продолжила вожатая еще суровее.

Дети послушно повторяли, а памятник кому-то бородатому, возвышавшийся за ее спиной, смотрел на посвящающихся каменным взглядом. Он казался именитым гостем, специально приглашенным по такому случаю.

Паша, слегка утомленный строевым походом к площади, облизанный шаловливым весенним солнышком, разморенный, машинально повторял вызубренную клятву и улыбался. Когда дети закончили клясться, Паше показалось, что памятник чуть кивнул головой.

И тут к посвященным по команде бросились, кинулись, ринулись старшие пионеры и с ловкостью профессиональных душителей накинули на их шеи треугольные алые галстуки и стянули узлом. Так Паша стал пионером.

Он вернулся домой усталым и радостным, хотя после посвящения был задумчив и чуть ли не хмур. Он чувствовал себя не вполне достойным пионерского галстука, но смолчал, когда накануне учительница спрашивала об этом у класса. «Ничего, я заслужу!» – решил Паша и вспомнил слова клятвы об уважении к старшим. «Ничего, я заслужу!» – весело повторил Паша мысленно и припомнил, что на исповеди священник говорил ему о почитании родителей.

– Заслужу – заслужу! – пел он, взлетая по лестнице на четвертый этаж...

Паша вернулся домой усталым и радостным. Из общей кухни умопомрачительно пахло пирогами с вареньем – расстаралась мамочка. Он нежно улыбнулся, скинул ботинки и тихо вошел в комнату. Мама, отдыхая после готовки, сидела за столом и читала Евангелие. Мальчик показал галстук, порадовался маминой радостью, сходил выпить кипяченой воды и возвратился серьезным и торжественным.

Мама выжидательно смотрела на него.

– Я уйду в монастырь и буду молиться за тебя, мама! – тихо и твердо вымолвил Паша давно продуманное.

Мама посмотрела на него каким-то переливчатым взглядом: сперва недоверчиво, потом радостно, затем испуганно; она смотрела долго-долго и наконец заплакала.

Этот лоскуток воспоминаний о детстве был алым – цвета пионерского галстука.

Дядя Паша почти улыбался, мысленно перебирая цветные лоскутки воспоминаний о детстве: вот лоскуток белый, вот голубой, вот желтый, вот алый... Дальше он вспоминать не хотел.

– Послушай-ка, дядя Паша, – внезапно обратился к нему человек в дубленке. – А ты никогда не задумывался, отчего священники в соборе такие нарядные? Они то в белых ризах служат, то в голубых, то в желтых, то в алых... А монахи всё время в черных, черноризники! Отчего так?

– Думать, что ли, больше не о чем?.. – пробормотал дядя Паша.

– А может, и не о чем, – произнес человек в дубленке загадочным тоном. – Я, может, в этом году в монастырь ухожу.

– Ты?! – завопил дядя Паша так, что пассажиры оглянулись на него.

– Я! – самодовольно подтвердил человек в дубленке. – Говори, пожалуйста, потише.

Вдруг где-то поблизости зашипело, затрещало и громкий ржавый голос проскрежетал: «Роддом». Троллейбус замкнул круг.

## Круг второй. Вечер дня

Троллейбус замкнул круг, остановился и неловко, жалко открыл дверные створки, словно ушибленные лапки поджал. Дядя Паша обернулся, отступил на шаг в сторону и вгляделся в прямоугольник внешнего мира. А вовне из тончайших, чуть заметных сумеречных волокон уже соткался добротный пуховый платок вечера. Небо, еще чуть освещенное откуда-то снизу, было густо-фиолетовым и почти беззвездным.

Люди вышли, люди вошли, двери схлопнулись, троллейбус мягко поплыл по вечернему городу, и в салоне вновь возникла иллюзия самодостаточности. На самом же деле неизменными, выдержавшими полный троллейбусный круг, были лишь дядя Паша и человек в дубленке, а также кондукторша, прикованная к троллейбусу, как гребец к галере. Всё остальное стало иным.

Час пик миновал, и давки уже не было. Большинство пассажиров сидели, а остальные вольготно стояли, держась за поручень. Дядя Паша, ошарашенный новостью о монастыре, тупо смотрел на продушенный глазок, подернувшийся тончайшей нежной наледью. Человек в дубленке стоял рядом и молчал с видом непрофессионального актера, произнесшего реплику и томящегося в ожидании следующей.

А неподалеку расположилась парочка. Такие парочки всегда размещаются около заднего окна, вдоль низкого поручня, иногда их число достигает двух или трех одновременно, и тогда поручень напоминает кукан с рыбой. Конструкция данной парочки была классична: девушка – спиной опирается на поручень, который пролег чуть ниже лопаток (обломков крылышек), ножки вместе, головка слегка приподнята; парень – держится за поручень обеими руками, окружив подругу своеобразным полуобъятием, ноги на ширине плеч, голова приагнута.

Дядя Паша покосился в сторону парочки, и человек в дубленке отодвинулся, чтобы не загоразивать.

Румяные лица, свербящий запахок молодости и перегара, короткая поношенная кожанка и лохматая шуба из шкуры неизвестного науке зверя – это почти всё, что одновременно воспринял дядя Паша. Со второго взгляда можно было заметить, к примеру, проплешину на шубе, кое-как прикрытую шерсткой (явно поработали расческой, даже бороздки от зубчиков видны). Подобная жалкая попытка молодиться роднила шубу с лысеющим мужчиной. Но носители ветхих одежд были молоды. Они спокойно смотрели то в лицо друг другу, то мимо, изредка официально улыбались и молчали.

– Сегодня у тебя? – спросила наконец девушка.

– Да. Тетка уехала, – ответил парень.

И вновь почти унылое молчание.

– Тебе какую шоколадку? – спросил парень.

– С орехами, – ответила девушка и улыбнулась более естественно.

Он чуть склонился и наискось мотнул головой (не поймешь, куда пришелся поцелуй, – на ноздрю, щеку или скулу). Улыбка девушки одеревенела, парень распрямился и безразлично уставился на изузоренное морозом стекло.

Человек в дубленке вновь прислонился к продольному поручню и скрыл парочку от взгляда дяди Паши. Занавес.

– А ты знаешь, – мечтательно произнес человек в дубленке, – я ведь давно думал в монастырь уйти, да всё как-то...

Лицо дяди Паши внезапно преобразилось: он резко расправил складки на лбу, и тот оказался не таким уж и низким, а просто усталым, просто измученным, с тремя продольными

морщинами. Одновременно дядя Паша стиснул челюсти, так что зубы скрежетнули и взбугрились щетинистые желваки.

– И ведь буквально с детства мечтал... – простодушнейшим образом продолжал человек в дубленке.

Дядя Паша с хрипом выдохнул в стекло, прерывисто, судорожно вздохнул и, успокаиваясь, выпустил воздух тонюсенькой струйкой. Ледяная поверхность стекла проплавилась, и дядя Паша, прикинув глазом к миниатюрному оконцу, увидел крупную, нежную, чуть грустную звезду.

– Ты, кстати, в церковь сегодня пойдешь? – поинтересовался человек в дубленке. – В полночь там...

– Куда ты едешь? – перебил дядя Паша.

В ответ тот слегка снисходительно, почти удивленно, жалеючи глянул на спросившего и смолчал, словно думая: «Ну и глупый же вопрос!» Затем молчание стало нейтральным и прочным.

– А ну-ка, кто еще хочет приобрести билеты? Спасибо, красавица! Вижу, родимый. Задняя площадочка... Не надо пенсионного, я верю. Вот вам билетик, барыня-сударыня! Проездные? Верю, верю, совет вам да любовь!

Парочка улыбнулась словам кондукторши, как улыбались все пассажиры, а та, разгоряченная и веселая, похожая на базарную торговку пирожками, задержалась возле дяди Паши, словно чего-то ожидая.

– Что с тобой? – изумленно спросил тот (он уже с полминуты как обернулся и наблюдал за кондукторшей). – Ты была другая...

– А мне скучно быть одинаковой, – озорно ответила она. – Ты погоди, погоди, дядя Паша, я еще покажу, какая я могу быть.

Кондукторша явственно подмигнула.

– Ты меня знаешь... – сказал дядя Паша, но не удивленно, а как-то грустно. – Все меня знают...

– Будет следующий круг, – проговорила она тихо, с почти яростной интонацией, – и будет ночь, и мало народа будет в троллейбuse, и я покажу...

Не договорив, женщина резко развернулась и ушла. Дядя Паша ошеломленно посмотрел на ее удаляющуюся тучную фигуру и наморщил лоб.

Внезапно девушка, притиснутая парнем к поручню, громко засмеялась – то ли разговор кондукторши с оборванцем показался ей смешным, то ли еще что. А дядя Паша вдруг скукожился, стиснул уши ладонями с оттопыренными, дрожащими пальцами и заскулил – заскулил тихо и жалобно, по-щенячьи.

\* \* \*

Смех, нутряной и какой-то икающий женский смех, уже давно стал страшнейшим из наваждений дяди Паши. Вслед за смехом всегда вспоминалась пульсирующая подвижная темнота плотно сомкнутых век. Темнота плыла и кружилась, словно водоворотистый омут, и Пашу (в то время ему было шестнадцать) сильно тошнило. Вскоре на мутном фоне тошноты проступали другие ощущения, появлялось осязание, и Паша начинал чувствовать свое тело.

Он лежал на узкой кровати, ничком и косо, так что левая нога его свешивалась. Между ним и кроватью присутствовала какая-то прослойка, теплая и влажная, и он не вдруг понимал, что это женщина. Он лежал и ощущал, как крупный сосок упирается в его душку – нежное, сокровенное место под кадыком, обрамленное двумя трепетными жилками. Женщина под Пашей дышала, и сосок давил то сильнее, то слабее, то сильнее, то слабее, и не было возможности пошевелиться.

Невыносимое омерзение, тошнота, вращающаяся темнота сомкнутых век и плаха женского тела – таков был неизбывный кошмар дяди Паши.

Но дядя Паша лишь смутно помнил то, что случилось после, – хоть в этом ему посчастливилось. А случилось следующее: женское тело приподнялось, и Паша, соскользнув с него и с кровати, гулко ударился бедром о дощатый пол. Грянул смех, несколько иной, чем раньше, Паша распахнул глаза, и ему почудилось, что с кровати свесился некто трехголовый. Две колышущиеся головы оказались грудями, а третья, просмеявшись, игриво спросила:

– Ты счастлив, Пашенька?

Паша вскочил и, зажав рот рукой, кинулся к двери (не та!), к другой, попал наконец в ванную... Там его продолжительно и неудержимо рвало над раковиной. Потом он рыдал, умывался и полоскал рот холодной водой, мутной от хлорки.

– В ванной чисто? – беспокойно и грубо поинтересовалась голая бесстыдница, когда Паша вышел.

Он кивнул и увидел, что ногти у нее на ногах крашены красным лаком; вновь резко затошнило. Паша внезапно понял, что наг, и устыдился, но прикрыться рукой показалось ему слишком пошлым, и он повернулся боком к женщине, своей ровеснице.

– Ты вроде и пил-то мало... – произнесла та почти задумчиво и, хмыкнув, шлепнула его по заднице. – Ладно, для первого раза ничего!

И на мгновение обняв трясущегося Пашу, проскользнула в ванную и неплотно прикрыла дверь, будто приглашая подглядывать в щелочку. Струя воды звонко ударилась об эмаль. А Паша вдруг ощутил какое-то сладостно-тягучее чувство от мерзости произошедшего, и это чувство плавно переродилось в похоть. Пашин рассудок, уже давно бездействовавший, почему-то ожил и сильно заинтересовался сходной сущностью омерзения и похоти, но истерически спокойные и весьма абстрактные мысли прервались.

– Ты в монастырь-то как – не раздумал идти? – донесся издевательский женский голос, а затем и смех.

Паше захотелось убить гадину, но он лишь заплакал, поспешно оделся и выбежал в душные летние сумерки.

«Почему?! – оглушительно думал он, пробегая квартал за кварталом. – Что же это?.. А как же мама, монастырь, я?..»

Задыхаясь, Паша взобрался по лестнице на четвертый этаж и трижды ударил по звонку кулаком.

– Пожар, что ли? – недовольно пробормотала соседка по коммуналке, открывая дверь. – Мама твоя в магазин ушла.

«Спасибо!» – мысленно поблагодарил кого-то Паша и прошел в комнату. Первым делом он корявым почерком написал записку («Прости меня») и положил ее на мамино Евангелие. Вторым делом он открыл окно и хотел было перекреститься, но не стал, словно побоялся, что исчезнет. Третьим делом он вскарабкался на подоконник, задержал дыхание, как перед прыжком в воду, и выбросился.

\* \* \*

Дядя Паша тихо и жалобно скулил, стиснув уши ладонями с оттопыренными, дрожащими пальцами.

– Что ты? – встревоженно спросил человек в дубленке, и, судя по всему, спрашивал он уже не в первый раз.

– Смех!.. – с мукой ответил дядя Паша.

– Какой смех? Нет уже никакого смеха, а парочка на той остановке вышла... Сам послушай.

Дядя Паша отчетливо слышал негромкий голос собеседника даже сквозь притиснутые к ушам ладони, а смех – как внутренний, так и внешний – и впрямь исчез. Осторожно, недоверчиво, всё еще страхась ошибиться, выпустил голову из рук, резко схватился за нее вновь, будто боясь, что она упадет без поддержки, а затем отпустил окончательно: кошмар действительно миновал. Перестав скулить, дядя Паша желтыми обкусанными ногтями содрал тонкую наледь с продушанного оконца во внешний мир и торопливо посмотрел туда. Как и ожидал, он вновь увидел крупную, нежную, чуть грустную звезду и почему-то мгновенно успокоился. Казалось, что звезда неспешно следует за троллейбусом.

– А ты сам-то пойдешь? – поинтересовался дядя Паша, и человек в дубленке прищуристом поглядел на него, словно не вполне понимая, а после ответил:

– Конечно, пойду. В полночь – как штык. Правда, народу будет уйма, пьяные всякие – но неважно, главное не это. Обязательно, обязательно нужно в церкви быть сегодняшней ночью...

Дядя Паша хмыкнул.

– И зря смеешься: пусть они пьяные, пусть парочками, пусть тискаются потихоньку, а всё равно лучше, если придут! – с горячностью говорил человек в дубленке. – Ясное дело, мало кто понимает, что это за праздник, идут в основном из-за стадного чувства, потому что так принято, потому что зрелище...

Он говорил, а дядя Паша глядел на него и чувствовал, что есть в говорящем какое-то несоответствие, какая-то неуловимая нелепица – вроде тени, падающей навстречу источнику света. Вглядывался, вглядывался и наконец понял: ораторствуя, человек в дубленке сладко прикрывал глаза – наподобие кота-мурлыки. Дядя Паша хмыкнул вторично.

– Ну, я не знаю, дядя Паша... – обиженно перебил себя оратор. – Это до какой же степени надо опуститься, чтобы смеяться над такими вещами! Ты же верующим был, болезненно верующим – по крайней мере, до шестнадцати лет. – Он вновь прикрыл глаза – возможно, чтобы утаить странноватый взгляд. – Хотя бы из уважения к себе тогдашнему мог бы...

– Вон! – сипло, почти беззвучно заорал дядя Паша.

– Еще чего! – холодно отозвался человек в дубленке и, видимо, передразнивая, принялся усердно дышать в стекло. Лед не плавился.

Стиснув зубы, дядя Паша лягнул стенку троллейбуса, поелозил рукавом фуфайки по заветному миниатюрному оконцу и посмотрел на звезду. Он знал, что непременно увидит ее, хотя троллейбус успел свернуть чуть ли не в противоположную сторону, – знал и увидел, увидел и успокоился, присмирел, почти улыбнулся.

– Впрочем, – произнес точно через силу человек в дубленке. – Впрочем, извини.

Троллейбус остановился, двери разъехались, и произошло нечто неожиданное: в заднюю дверь безо всякого сопровождения ворвались две собаки.

Они были великолепны – большой черный кобель, смахивающий на добермана, и маленькая беленькая сучка, дворняжка с востренькой мордочкой. Они, пожалуй, и не заметили, куда заскочили, они совершенно не смотрели на окружающее: они были влюблены.

Да, именно влюблены! На мгновение собаки неподвижно стали под поручнем, на месте парочки, и, приблизив морду к морде, ласково, неизъяснимо ласково поглядели друг на дружку. И столько истинного, столько вечного было в этом мгновении, что никому из тех, кто повернулся в сторону собак, не пришло в голову прогнать их.

Троллейбус тронулся, и собаки поначалу слегка встревожились из-за того, что пол под их лапами заколыхался, но вскоре испуганное повизгивание сменилось повизгиванием успокаивающим, потом – «разговорным». Склонив красивую продолговатую морду, кобель понюхал под хвостом у сучки – понюхал почтительно и нежно. Именно так, наверное, романтический поэт наслаждался бы ароматом прекрасного цветка, который жаль сорвать. Сучка с настоящей или притворной стыдливостью отошла, но кобель последовал за ней, словно привязанный за

нос. Она неторопливо шествовала впереди, а он сзади, на троллейбусной площадке было где развернуться, и они так и прошли «паровозиком» пару кругов.

Затем собаки свернули в проход между сиденьями и стали бок о бок.

– Ишь ты, какую маленькую подружку себе нашел! – добрым голосом сказала одна старушка.

До этого люди молчали и лишь смотрели на собак, но после реплики старушки заговорили почти одновременно:

– Эх-х, нет фотоаппарата!

– Он же ее раза в два больше... Как же они?..

– Красивый пес! Бывают же такие красивые убудки!..

– Смотри, смотри, как ласкаются!..

– Да, чего только не увидишь...

И лишь одна тетка подошла к кондукторше и спросила:

– Почему в салоне собаки? – спросила, а сама глядит на них и мимовольно улыбается.

– Выбегут на остановке, – сказала кондукторша и доверительно добавила: – Я ведь их и сама боюсь.

А собаки жили в своем собачьем мире, жили своей собачьей любовью и полностью игнорировали говорящих. Он склонил тяжелую голову к мордочке подружки, разинул пасть и блаженно прикрыл глаза, а она нежно-нежно покусывала его нижнюю челюсть.

На остановке они без напоминаний выбежали прочь и навсегда исчезли из тесного троллейбусного мирка, а люди еще долго улыбались тихими хорошими улыбками.

Улыбки уже успели растаять, когда вдруг зашипело, затрещало и громкий, пророчески-зловещий голос проскрежетал: «Роддом». Второй троллейбусный круг замкнулся.

## Круг третий. Ночная темнота

Второй круг замкнулся, троллейбус остановился и с тюремным лязгом резко распахнул двери. Дядя Паша отвернулся от заиндевелого стекла, отступил на шаг в сторону и тревожно взгляделся в прямоугольник внешнего мира. А извне ночная темнота зорко вглядывалась в него, дядю Пашу, словно тюремщик, который стоит на пороге камеры и вот-вот скажет: «На выход». Никто не вышел из троллейбуса, никто не вошел в него, – вероятно, не хотели мешать свиданию человека и темноты.

Дядя Паша зажмурился: он давно догадывался, что хотя и маскируется темнота, пропитываясь мертвым светом фонарей, на самом деле она черная, и захлебнуться в ней проще, чем в чернилах...

Когда он открыл глаза, троллейбус уже мягко плыл по ночному городу, а темноты не было видно.

Многое в салоне изменилось по сравнению с началом предыдущего круга: количество пассажиров уменьшилось настолько, что почти никто не стоял и были свободные места, да и сами пассажиры изменились. Колыбельное колыхание троллейбуса, его беззлобный вой и слепые окна – всё это способствовало безмолвию, и люди молчали, глядя в никуда.

Они нырнули в себя, думая, вероятно, о разном, но – странное дело! – выражение их разновозрастных и разнохарактерных лиц было одинаково. Всмотревшись в такие лица, можно увидеть лик человечества, не искаженный ничем внешним. Лик этот печален, причем печаль, проступающая на нем, не минутная, не случайная, а вечная, вселенская даже... О ней легко забыть и сложно вспомнить; чувство, близкое к ней, возникает, когда мы перебираем свои детские фотографии.

Люди с неуловимым отблеском истины на лицах молчали, а человек в дубленке, будто припомнив или поняв что-то, весело произнес:

– А ведь сейчас, дядя Паша, ночь перед Рождеством. Этой ночью, по Гоголю, нечисть в самую силу входит.

Слова человека в дубленке наложились на ощущения недавнего свидания с темнотой, и дяде Паше стало жутковато. Поспешно содрав наледь со своего оконца, он глянул на звезду, невыразимо мягко светившую во тьме. Внезапно туманный зеленый шар пиротехнической ракеты устремился к звезде, повисел рядом и провалился: кто-то расстреливал остатки новогодних боеприпасов. А дядя Паша неотрывно смотрел на звезду и уже ничего не боялся.

На очередной остановке в троллейбус со смехом заскочили три запыхавшиеся женщины лет сорока – едва успели. Свободны были только одиночные места, а женщинам, как видно, не хотелось разлучаться, вот и облепила компания продольный поручень на задней площадке, тяжело дыша, но не прерывая разговора, начатого где-то вне троллейбуса. Вошедшие торопливо тараторили, будто читали текст на время, причем текст явно эзотерического содержания. В непролазных дебрях разговора часто раздавалось рыканье: реинкарнация, карма, чакра... И еще мелькало слово «ангелы», в отдельности лазурное, но рядом с рыкающими соседями приобретенное сизый цвет.

– А вот и третье блюдо... – тихо пробормотал человек в дубленке, словно подумал вслух.

Затем он резко припал к уху дяди Паши и безо всякой видимой связи с чем бы то ни было быстро зашептал:

– Почему ты на меня злишься? Я же тебя растормошить хочу, а ты злишься... Зачем злишься? Посмотри-ка вон на них. (Кивок в сторону женского трио). Они же не просто так хохочут: нарики, наку... – Человек в дубленке осекся, поняв, вероятно, что явно напутал и повторяется. – То есть не нарики, не накурились (это я оговорился), а обычные современные

ведьмочки. – Поправившись таким образом, он уже без запинки произнес: – Послушай, у них сейчас разговор любопытнейший... Слушай!

– Так-таки и любопытнейший... – иронично усомнилась одна из женщин.

– Ты о чем? – осведомилась другая, удивленно на нее глянув.

– Просто кое-кто нашим разговором заинтересовался. Говорит, что любопытнейший.

– Кто же это? – почти испуганно прошептала третья женщина. – Я ничего не слышала.

Первая указующе скосила глаза в сторону дяди Паши и человека в дубленке.

– Тот мужичок, что ли? – спросила вторая сомневающимся полусшепотом.

– Ну да, – утвердительно ответила первая. – Больше никому...

Третья захихикала в ладошку.

– Да тише ты! – прищипнула вторая. – Продолжаем разговор и ни на кого не обращаем внимания. О чем мы говорили?

– Об ангелах.

– Точно. Так вот, Олег на семинаре по ангелам про Атлантиду рассказывал. Она и впрямь существовала. То есть был такой материк – Карагуана, а столица его называлась Атлантидой. Атлантийцы были высокие, краснокожие, голова у них была яйцеобразная, заостренная кверху...

– Кверху?!

– Ну да. Непонятно, правда, чем они думали, но цивилизация у них была классная. Лазеры там, кристаллы какие-то, космические корабли, атомная энергия... Еще они владели сферической магией, в смысле телепортацией, и жили по двести восемьдесят лет.

– А откуда Олег всё это взял? – наивнейшим образом полюбопытствовала широкоокая женщина, обозначенная в нашем повествовании третьим номером.

– Откуда?.. – переспросила вторая весьма удивленно. – Из Акаша-хроники, конечно.

– Откуда-откуда? – третья чуть съежилась и прищурила глаз.

– Да темная она – что с нее взять, – успокоительно обратилась женщина номер один ко второй, которая едва в кому не впала оттого, что подруга не знала об Акаша-хронике. – Акаша-хроника – это космический банк данных, – назидательно сообщила она номеру третьему. – Там содержатся сведения о том, что было и что будет. Акаша-хроника – это истина. Некоторые люди умели подключаться к ней: к примеру, Будда, Иисус, Ванга, Серафим Саровский. Ну и Эдгар Кейси, конечно же.

– А что за Эдгар Кейси?

– Ну Эдгар Кейси, знаменитый «спящий пророк». Он впадал в транс и говорил чужим голосом, а за ним записывали.

– Что ж, если чужим голосом заговорил, – значит, правда? – простодушно осведомилась третья.

– Не пытайся казаться глупее, чем ты есть! – очень строго, с величавостью одернула вторая. – Слушай лучше про Атлантиду. Так вот, атланты жили в гармонии с природой: параллельно с научными достижениями у них было всё хорошо и на спиритуальном уровне. Почти все они были целителями там, ясновидящими, ну и с ангелами общались.

– Это как? То есть как общались? – полюбопытствовала третья.

– Да не перебивай ты! Общались: есть такие специальные техники, с помощью которых можно настроиться на ангелов. Они и сейчас известны, эти техники, и они очень даже простые. Сходи на семинар, и Олег тебе всё объяснит.

– Денег нет...

– Уж как будто не найдешь!.. Займи, в конце концов! Где ты еще такое узнаешь?.. Олег – он еще попов ругал в том смысле, что они скрывают от нас доступ к духовному миру. Он сказал, что они не дают нам общаться с нашими невидимыми братьями и сестрами – и, знаете, с

волнением так сказал, даже лицом задергал... Так что, подруга, копи деньги – будешь общаться с ангелами.

Ладно, это в сторону. Вообще-то есть 144 ангела, и каждый имеет свой символ, имя и сферу деятельности. Есть ангелы-стихии, есть покровители профессий – с ними со всеми можно работать, и они будут помогать. Атлантйцы как раз и работали – устраивали коллективные медитации. Был у них еще совет локки – это высшие посвященные, духовные воспитатели народа. Они во всем советовались с ангелами.

– Бредятина! – скептически пробормотал дядя Паша и весьма удивился, что мысленно, совсем как в предсмертный юношеский период, стал выстраивать ряд созвучных слов: Бердяев, берданка, бередить, бродить, Бродский... Постепенно дошел до «баранины». Дядя Паша изумился, взволновался и почти испугался, потому что уже более десяти лет ничему не удивлялся, ни к чему не прислушивался с интересом, а тут и Атлантида, и Бердяев с Бродским... – Бредятина... – беззвучно, одними губами, словно самому себе не доверяя, прошептал он.

«Так юноша, когда краснеет и понимает, что краснеет, краснеет еще сильнее, – подумалось вдруг. – Кажется, из Достоевского... Или Толстого...»

«Кому подумалось?!» – встрепенулся дядя Паша. Понятно, не ему: это было бы слишком. Значит, фразу произнес человек в дубленке.

– Бредятина! – в третий раз выдохнул дядя Паша.

– Разумеется, бредятина, – готовно подхватил человек в дубленке, зачем-то дождавшись, чтобы слово было произнесено трижды. – Эдгар Кейси, «спящий пророк», – я ведь о нем слышал. Он впадал в транс и отвечал на вопросы – и, знаешь, удачно так: к примеру, надо было спасти жизнь человека – к нему. Так, мол, и так. Он им и выдал, что есть в такой-то аптеке такая-то скляночка. Спасли. Опосля этого можно ведь любые сказочки рассказывать – поверят! А тем, кто не поверит, скажут: цыц, он про скляночку напророчил, он человека спас... Только ведь пророчествовал он в транс и чужим голосом – милое дело. Ну нормальному христианину объяснять не надо: любил парень поспать и давал тело напрокат кому требовалось, а когда просыпался – пожинал лавры. Зато сколько на нем, наверное, диссертаций защитили – у-у!.. – Человек в дубленке взвыл с каким-то завистливым сожалением, словно все диссертанты попользовались его идеей или изобретением, а он остался ни с чем. – Ладно, фиг с ними, с диссертантами: они сейчас, наверное, в одном котле с Эдгаром Кейси варятся, а лавровые венки пошли на приправу. (Ну, не поэт ли я?) Жаль только, что бес, который сказочки придумывал, безвестен. Записали ведь за ним всё, книжки издали, а на обложке – Кейси. Будь я тем бесом, мне обидно было бы.

Дядя Паша как-то особенно пронизательно посмотрел на него, и тот, слегка запнувшись, продолжил более спокойным тоном:

– И ведь в каждой сказочке начинка – иначе никак. К примеру, сказочка про Атлантиду. Во-первых, сроки. Возникла, дескать, эта цивилизация 150 тысяч лет назад. А по Библии, от сотворения мира каких-то семь с половиной тысяч лет прошло. Мораль: Библия врет.

– Женщина о сроках не говорила, – заинтересованно сказал дядя Паша.

– Гм... Значит, забыла. Не суть важно, сроки там такие. Далее, идея вторая: общение с ангелами, «невидимыми братьями и сестрами». Разумеется, светлым Ангелам те милые женщины на фиг не сдались. Сколько раз Ангелы в Библии являлись людям – по пальцам перечесть можно. А наши ведьмочки спокойненько «работают» с ангелами – с падшими ангелами, конечно же. Идея ясна: общайтесь с бесами, они плохому не научат. Слушай, кстати, что ведьмочка сейчас глаголить будет – ухихикаться можно.

Между тем рассказчица, инвентаризованная как «женщина № 2», уже успела:

а) похвалить мудрых локки, осознавших с помощью ангелов законы Вселенной;

б) отругать гадких варваров, которые совсем ничего не смыслили в законах Вселенной и потому принесли в Атлантиду свои глупые идеи;

в) посетовать на то, что глупые варварские идеи привели к расколу в обществе атлантйцев, к убийствам, войнам и так далее;

г) поведать о трех катастрофах, заставивших Атлантиду погрузиться в морские глубины (взрыв химического оружия, взрыв энергетических станций, атомный взрыв).

– ...И вот после второй катастрофы, – продолжала она, – локки поняли, что Атлантиду не спасти. Тогда они вместе с частью населения эмигрировали в Египет, Палестину и Центральную Америку. В Египте они понастроили пирамид и научили египтян многим полезным вещам. Олег сказал, что в какой-то из пирамид хранятся записи атлантйцев. А в Палестину отправились самые дельные локки. Там они образовали сообщество, которое тогда считалось сектой. Они назывались ессеями. Именно из их среды должен был выйти Иисус, Божий посланник.

– Что?! – вскричал дядя Паша и забормотал: – Если бы я был жив, ересь была бы ересью... А здесь это всё равно, здесь так и надо...

– Интересно? – осведомился человек в дубленке. – То ли еще будет...

– Отстань! – отмахнулся дядя Паша.

А рассказчица всё это время держала эффектную паузу и поплатилась: женщина за номером один обрадовалась возможности прервать поднадоевшее повествование и неожиданно полюбопытствовала:

– А чакра, которая на два цуня ниже пупка, – она как называется? Никто не помнит?

– Сакральная, кажется, или сексуальная – два названия, – ответила вторая.

– Сакральная – значит тайная? – спросила третья.

– Не тайная, а священная. Священная, она же сексуальная. Мы ведь вместе на семинаре были...

– Да нет, я почти все помню, – поспешно произнесла первая. – И названия, и где располагаются, и за что отвечают. Чакры еще часто засоряются, и тогда их прочищают энергетическим шомполом...

Третья вдруг расхихикалась.

– На два цуня ниже пупка – шомполом!.. – едва выговорила она. И вновь закашлялась смехом.

– Пошлячка! – ухмылисто охарактеризовала вторая, и вскоре ухихикивались уже втроем.

А дядя Паша сощурился, скукожился и вжался в фанерную стенку; он чувствовал, что недавний кошмар в любую секунду мог возродиться от женского смеха. Что-то подобное он ощущал в детстве, когда осторожно шел по льду большой глубокой лужи: лед потрескивал под ногами, но нельзя было ни остановиться, ни пойти быстрее, ни покинуть лед в два прыжка – тогда наверняка провалишься. Вот и сейчас дядя Паша слышал ненадежное потрескивание мира и напряженно цепенел, боясь шевельнуться и повредить Вселенную.

\* \* \*

Пашу, что называется, собрали по кусочкам, а он так и не поверил. Нырнувший с четвертого этажа в адскую бездну, он воспринимал дикую боль как самое естественное последствие прыжка и приготовился терпеть вечность, изредка скрежеща зубами. Но через некоторое время боль почему-то начала утихомириваться, а затем почти исчезла. Паше, жаждавшему вечного наказания, стало обидно, и он скрежетал зубами уже не от боли, а с досады и плевался в бесов, одетых в белое. Однако он внезапно успокоился, осознав, что неудовлетворенная жажда боли, жажда муки и есть страшнейшее наказание. С той поры он иной раз даже ухмылялся и подмигивал бесам, – мол, молодцы, хорошо придумали!

Его выписали.

Как оказалось, ад был до смешного похож на тот мир, из которого Паша выпрыгнул. Даже поселили новоприбывшего в такой же дом, как и раньше, в такую же комнату. Вот только жила

рядом не мама, а какая-то чужая женщина. Женщина эта ежедневно приходила к Паше в дни боли, и он еще тогда выделил ее среди бесов, одетых в белое, – из-за того, что снежная одежда смотрелась на ней неестественно. Неожиданная соседка пыталась доказать, что она его мама, и даже плакала и молилась, часами простаивая на коленях, – у-ух, хитрющая!.. Но Пашу не проведешь!.

Около года он прожил рядом с ней, тихонько посмеиваясь, как человек, постигший механику бытия, а потом приехали бесы, одетые в белое, и увезли странную женщину. Когда ее выносили, она отрывисто вскрикивала, судорожно пыталась приподняться, но падала, и голова ее тяжело билась о носилки. Паша понимающе улыбался, глядя на эту сценку, и в конце концов тоненько захихикал. Сосед по адской коммуналке, очень похожий на прежнего, настоящего, размахнулся и врезал Паше в ухо.

– Ты что?! – воскликнула жена соседа, очень похожая на прежнюю, настоящую. – Он же глупеньким стал после больницы! Он же не понимает!

– Ничего... – злобно произнес сосед, потирая кулак. – Совсем он ее извел, гаденыш!..

А Паша, слегка оглохший, лежал на полу и наслаждался расцветающей болью.

Через несколько дней в его комнате появился гроб, а в гробу – женщина, причем явно не та, которая билась головой о носилки. Сосед по адской коммуналке, ударивший Пашу, стоял на лестничной площадке перед крышкой гроба и постукивал молотком. Он брал астры и двумя ударами вколачивал гвоздь в их мясистый зеленый кадык, второй гвоздь вонзался в стемпель. Лепестки астр, узкие, нежные и многочисленные, казались материализовавшимся воплем. А соседова жена кормила Пашу пирожками; она и впоследствии опекала его, когда он уже повзрослел и стал дядей Пашей.

На следующий день поутру в отпахнутую дверь скорбной вереницей стали входить соседи по подъезду, сослуживцы и неслыханные родственники из деревни. Они медленно подходили ко гробу, некоторые стискивали ледяные белые тапочки умершей; потом они подолгу вглядывались в ее лицо и уходили, оставляя деньги на тюле.

Дядя Паша не помнил, отпевали или нет эту женщину. Он помнил кладбище.

Оркестра не было, и гроб несли под птичий щебет. В числе немногих Паша ковылял следом; шли медленно, и он почти не уставал, передвигаясь бочком, по-крабьи, и вывертывая ногу. Еще одним последствием прыжка с четвертого этажа был скошенный к переносице глаз, из-за чего Паше казалось, что мир тайком сделал небольшой шаг влево. Наконец неподалеку от кучи свежей земли и могильной пасти гроб поставили на две табуретки.

– Прощайтесь, – сказал кто-то.

Пашу зачем-то подтолкнули к желтоватому остроносому лицу усопшей. Он отпрянул и стал поодаль, а несколько человек поцеловали умершую в лоб. Зато когда приколотили крышку, опустили гроб в могилу и выдернули вожжи, Паша первым бросил горстку земли. Точнее, он заметил большой, почти идеально круглый земляной ком, похожий на глобус, взялся за него, но ком рассыпался в Пашиной руке, и в могилу полетела лишь горстка.

С той поры Паша остался один. Он не работал и не учился, жил на деньги, которые ему выплачивало государство, словно оно было отцом, платящим алименты отвергнутому ребенку. Деньги он отдавал соседке по коммуналке, и та вела хозяйство: покупала что надо и прибирала в его комнате. Через несколько лет к имени Паши прилепилось словцо «дядя», а еще через несколько он, более со скуки, нежели по нужде, стал просить милостыню. Просил он странно: ковылял к прохожим и серьезным, деловым тоном говорил: «Слушай, дай две копейки». Подавшие почти всегда принимались неосознанно вычислять, во сколько их щедрость превысила запросы нищего; решив в уме несложную арифметическую задачу, они улыбались. А дядя Паша по примеру многих нищих тратил подаяние на курево и водку. Выпивкой он, впрочем, не увлекался: так, иногда, да еще зимой для сугреву.

Такова была внешняя оболочка жизни дяди Паши, внутренняя же оболочка, та, под которой таится непроницаемая душа, гораздо интереснее.

Как и следовало ожидать от человека в его положении, дядя Паша с любознательностью естествоиспытателя принялся изучать ад. Потом, конечно, надоело, но поначалу многое казалось весьма забавным. Смешило, к примеру, то, что истязуемые грешники не понимали, где находятся, боялись попасть в ад. И что самое уморительное – здесь даже церкви были.

Дядя Паша зашел однажды в храм, и что-то земное ему вспомнилось, что-то из детства – времени, когда он еще живым был, когда еще в рай мог попасть... И дядя Паша, поддавшись вдруг изощренному бесовскому обману, принялся подпевать клиросу. Но тут такая жуть на дядю Пашу напала, что его залихоманило, от телесной дрожи задрожал и голос, став каким-то козлиным... И словно кто подсказал, как избавиться от ужаса и тряски, – дядя Паша осекся и начал размеренно, очень четко выговаривая слова, материться. Вмиг полегчало, и внезапно он понял, что и на клиросе поют матом, и уж тогда-то он расхохотался. Легонько подталкивая, его вывели из церкви, а он всё смеялся и думал: «Ай да молодцы бесы, ай да искусники!»

Вскоре дядя Паша научился видеть и самих бесов. Было их куда больше, чем людей, как, впрочем, и положено в аду: они кишмя кишели в воздухе, сидели на людских плечах, а мизерная их часть шутики ради маскировалась под ангелов. Воздух походил на кипящую воду с бесами-чайнками, поэтому дядя Паша перестал смотреть на небо, некогда голубое.

Через несколько лет пребывания в аду дядя Паша настолько ко всему привык, что даже не замечал нечисти. Ему словно и неведома была страшная истина; в числе нищенствующих грешников он просил милостыню на водку и курево у тех грешников, которые спешили в церковь. Сам дядя Паша туда не ходил, лишь на Крещение заглядывал на церковный двор, смотрел, как люди давят друг друга, ругаются и чуть ли не дерутся из-за святой воды, и хохотал до изнеможения. А на Пасху и Рождество он даже милостыню не просил – сам не понимал, почему.

В общем-то, дядя Паша был бы вполне доволен послесмертием, если бы не вырослел, а оставался шестнадцатилетним (ведь так и умереть можно – дальше-то куда?..). И если бы не было того кошмара с тошнотой и женским смехом. И если бы не приставал этот человек, слишком уж напоминающий живого, земного, – человек, одетый в дубленку и стоящий рядышком, в том же троллейбусе, что и дядя Паша.

\* \* \*

Опытная рыбина жует безопасный конец червя, нанизанного на крючок, мудрая мышь потихоньку скусывает сыр со стерженька мышеловки – и обе остаются безнаказанными, потому что делают это медленно-медленно, осторожно-осторожно. С той же медлительностью и осторожностью дядя Паша выбрался из стылого оцепенения, когда смолк женский смех. Окружающий мир утратил катастрофическую хрупкость и замер в мало кому заметном, привычном и совсем не страшном ожидании конца света. Человек в дубленке молча наблюдал за дядей Пашей и почему-то облизывался.

– Вечно ты, подруга, с пошлостями... – пожурила вторая женщина третью, когда они уже сполна насладились колышущейся тишиной послесмешия.

– Правда, посерьезнее надо быть, – поддержала первая. – Ты всё полтергейстами, тарелочками увлекаешься, а пора уже людям пользу приносить.

– Это как? – улыбочиво поинтересовалась третья.

– Как-как – целительством заниматься! – ответила женщина и, манерно избоченившись, выдала: – Мы, между прочим, лечим наложением рук – как Иисус.

– Кстати, об Иисусе, – спохватилась вторая. – Я же не досказала.

– Выходить скоро, – уныло напомнила первая.

– Я быстро, – уверила вторая и затараторила: – В общем, так. Я остановилась на ессеях, потомках атлантйцев, которые в Палестину эмигрировали. Короче, им было откровение, что из их среды выйдет Божий посланник. Ну и вышел. А они обеспечивали Ему помощь и поддержку. На берегу Мертвого моря был тайный учебный центр ессеев (кажется, Курман назывался), и там Иисус проходил обучение. А то, что в Библии написано, что Он лет до тридцати плотничал, а потом вдруг пошел проповедовать – это всё глупость, конечно. Да, и еще ведь Иисус был женат, и жену Его звали Марьям – а потом она умерла. И Он, кстати, на кресте не умер; Он просто овладел методиками этих локки и заставил сердце биться раз в полчаса – вот и подумали, что умер, а из гроба Он телепортировался. Олег говорил, что, согласно некоторым источникам, Иисус уплыл на корабле во Францию и там уже умер своей смертью. А насчет Его рождения есть две версии: первая – это то, что при рождении в Него вселилась какая-то сущность, а вторая... как уж его... Да, вторая – это что Его душа идеально очистилась в предыдущих воплощениях. Есть еще евангелие от ессеев (археологи недавно откопали) – там обо всем этом подробно написано. Вот так! – победно заключила рассказчица.

– Любопытно-любопытно... – заинтересованно произнесла первая. – Что-то я такое уже слышала – не помню, где. Евангелие от ессеев... Любопытно... Надо бы на семинар сходить!

– А по-моему, всё это сказочка – что Библия, что это ваше евангелие от ессеев... Две тысячи лет прошло – какой смысл что-то вспоминать? Гипотезы, гипотезы – делать, что ли, больше нечего? У нас тут чудеса на каждом шагу, НЛО летают, никаких раскопок не надо – бери видеокамеру и снимай. А вы в древность лезете... – с искренним возмущением и, похоже, даже для самой себя неожиданно вскинулась женщина номер три. – Вот, прям, денег много – ходите на семинары, пишете под диктовку... Вызубрили – и тра-та-та-та-та, лапшу вешать! А вы вообще-то знаете, чем Евангелие от Библии отличается?

– Евангелие от ессеев от Библии? – переспросила вторая, немало удивленная. – Конечно! Нам Олег...

– При чем тут Олег и ессеи?! – выкрикнула третья почти остервенело, и видно было, что она сама себя пугается, но остановиться не может. – При чем?

– Люди, люди кругом! – зашептала первая.

– Пусть люди! При чем? Я спросила о просто Евангелии и просто Библии, – произнесла третья потише. – Чем они различаются?

– Ну... – протянула вторая и беспомощно посмотрела на первую. Та пожала плечами. – Ну... Не знаю, надо будет у Олега спросить.

Человек в дубленке троекратно хлопнул в ладоши, словно зритель, щеголяющий знанием пьесы – знанием того, что далее уже ничего не будет. Далее и впрямь ничего не было: троллейбус остановился, и три женщины молча исчезли в дверном проеме.

А с дядей Пашей творилось страшное. Внешне это выглядело так: приблизительно с середины рассказа второй женщины он зажмурился и уперся лбом в заиндевевое стекло, а лед плавился, плавился... Мысли же дяди Паши напоминали какофонию настраивающегося оркестра, где музыкальные инструменты визжали и ревели не своими голосами. Какофония мыслей абсолютно не зависела от воли дяди Паши, многое в ней было ему непонятно, и лишь одно он знал точно: лучшего аккомпанемента к неслыханно глупой ереси и не подобрать. Слушал он тупо и безучастно, но невольно вникал в каждое слово, и лед под его разгоряченным лбом плавился.

Наконец дядя Паша услышал, как человек в дубленке троекратно хлопнул в ладоши и как троллейбус, остановившись в раздумье, согласно лязгнул дверьми. Какофония мыслей смолкла. Зритель замер в ожидании. Лед плавился.

«Как они посмели? – одиноко подумал дядя Паша в пустоте, внезапно разверзшейся. – Почему они хулили Бога, почему? Бесы знают и трепещут, бесы веруют, а они... – Дядя Паша почувствовал, что время сместилось, сжалось, что так думать может лишь Паша, шестнадцатилетний чистый мальчик. – Они уже в аду, да, но зачем такое жестокое наказание, зачем лишать

их возможности узнать правду и раскаяться? Так нельзя думать, так грешно думать, но это нечестно, нечестно! Хотя бы здесь, в аду хотя бы, должна же быть справедливость, должны же они узнать, где Истина, и плакать, и скрежетать зубами оттого, что ничего нельзя изменить!.. И, может быть, в следующей Вечности, если она будет, все грешники простятся, потому что все покаются и все плакали и скрежетали зубами... А эти смеются, смеются!» – и Паша, шестнадцатилетний чистый мальчик, заплакал, а дядя Паша, нежно посторонившийся, плакал уже давно, но слез не было. И лишь когда мальчик, выговорившись, зарыдал, единственная слезинка пала на щетинистую щеку. Вдруг рыдания мальчика пропали, а значит, и сам он исчез, и дяде Паше остались лишь воспоминания о нем, чистом, и влага на правой щеке.

Лед плавился.

– Уж ты не плачешь ли, дядя Паша? – спросил человек в дубленке то ли насмешливо, то ли участливо. – Погоди пока, – добавил он то ли угрожающе, то ли утешительно. – К тебе, кажется, идут. – Последняя фраза была произнесена совершенно бесцветно, и оттого показалась дяде Паше зловещей.

Он обернулся. Долю секунды он видел перед собой изузоренное стекло с проплавленным во льду оконцем; там идиллически соседствовали нежная звезда и щербатая луна. Дядя Паша почти уже подумал что-то очень важное, но обернулся и...

На этот раз кондукторша подошла молча. Она тихо остановилась за спиной дяди Паши и, поглаживая нервным движением талонную ленту, стала дожидаться, когда он обернется, и... Лишь по тому, как тяжело женщина выдохнула, стало понятно, что она даже дыхание таила, чтобы производить как можно меньше шума. Дядя Паша полуиспуганно глядел на нее – странно возбужденную, прерывисто дышащую, молчащую.

– Помнишь, – произнесла она наконец, – как я тебе говорила, что будет следующий круг, и будет ночь, и мало народа будет в троллейбусе? Помнишь, дядя Паша?

– Помню, – завороченно ответил он.

– А помнишь, – продолжала она ужасающе вкрадчивым голосом, – помнишь, как я тебе говорила, что еще покажу, какая я могу быть?

– Помню, – глухо ответил он, неотрывно глядя на мутную жемчужинку пота на ее левой щеке.

А человек в дубленке, заметно нервничая, дергал дядю Пашу за рукав и что-то говорил, говорил...

– Хорошо, что помнишь, дядя Паша, – таинственно прошелестела женщина. – Сейчас я тебе шепну кое-что на ушко, а ты слушай...

– Это я шепчу ему на ушко! – свирепо рыкнул человек в дубленке, и дяде Паше показалось вдруг, что молния на одежде рыкнувшего с визгом расплзлась донизу, и в щели не оказалось ничего, кроме голого тела, – впрочем, не голого, а густо поросшего прямой жесткой шерстью, похожей на волчью. Заметив неладное, человек в дубленке мигом застегнулся и повторил: – Это я шепчу ему на ушко!

Но кондукторша абсолютно игнорировала его и будто бы не видела даже. Женщина хищно припала к уху дяди Паши и спросила тоненьким помолодевшим голосом:

– Ты счастлив, Пашенька?

И она засмеялась – сначала тихо, потом громче, и постепенно ее смех превратился в нутряной и какой-то икающий – в смех из кошмара дяди Паши.

– Ты?! – завопил дядя Паша так, что пассажиры оглянулись на него.

– Я! – самодовольно подтвердила женщина.

– Вон!!! – дико заорал дядя Паша и топнул, топнул, топнул ногой. – Вон!

– Вон! – рыкнул и человек в дубленке. – Вон!

Но она не ушла и не исчезла: она стояла тяжким, недвижимым монолитом и сладостно ухмылялась. И тут человек в дубленке проворно подскочил к ней и как-то очень ловко взял ее

за голову: левую ладонь приложил к низкому лбу, словно проверяя, нет ли у женщины жара, а правой принакрыл шарообразную шерстяную шапку в области затылка, да так нежно, что шапка не шелохнулась. Взяв женщину за голову, он очень коротко и тихо шепнул ей на ухо и отошел.

Словно обезумев, кондукторша сорвалась вдруг с места, кинулась к кабине водителя и что-то кричала, кричала, кричала ему, пока он не остановил троллейбус, не доезжая остановки, и не открыл переднюю дверь. Продолжая кричать, женщина сиганула вон, а троллейбус, недоуменно кляцнув дверью, пополз дальше. Если кондукторша и была прикована к нему, как гребец к галере, то теперь она разбила цепи и прыгнула за борт – в открытое море.

– Что ты сказал ей? – удивительно спокойно спросил дядя Паша.

– Да так... – неопределенно ответил человек в дубленке, облизываясь, и любознательно глянул на него.

С минуту молчали.

– А ведь у меня к тебе серьезный разговор, дядя Паша, – медленно и как будто чуть-чуть неуверенно произнес человек в дубленке. – Очень серьезный.

– Ну, – безучастно поторопил тот.

– Скажи, тебе нравится в аду?

– Да так... – неопределенно ответил дядя Паша, безразлично добавив: – А я и не знал, что ты знаешь.

– Знаю, я всё знаю, – уверил человек в дубленке и с волнением продолжил: – А хочешь, я тебе тайну открою?

– Ну.

– Так вот... Первое – это еще не тайна, это присказка только, да ты и сам, наверное, уже догадался... Первое – это то, что я не человек. Не человек – понимаешь? Я бес.

– А, – ужасающе спокойно, меланхолично отозвался дядя Паша. – Понятно.

– Да, бес, бес я – понимаешь? – бес! – нервно зачастил носитель дубленки, явно оскорбленный таким невниманием. – Вот мы с тобой говорим, говорим, а ведь ты ни слова вслух не произносишь. Обо мне и речи нет: меня вообще никто, кроме тебя, не видит. Ну неужели тебе всё это неинтересно?

– Да так... – неопределенно ответил тот и судорожно зевнул.

– Ничего, дядя Паша, ничего, родной, – я тебя расшевелю... – едва ли не жалостливо пробормотал бес, глядя на человека, и зло добавил: – Переборщила она, сильно переборщила – и кто ее просил, стерву?! Пусть теперь побегает!..

Бес задумчиво почесал нос скрюченным пальцем и, обаятельно улыбнувшись, молвил:

– Теперь я даже кривляться не буду: мне уже всё равно. Веками лгать, а теперь «правда, вся правда и ничего, кроме правды» – это ведь форменное извращение, это ведь приятно! Так вот, тайна очень проста, и состоит она в том, что ты, дядя Паша, отнюдь не умер и что здесь не ад. – И, не давая времени усомниться или возразить что-либо, он проникновенно, с потусторонним жаром зашептал: – Теперь ты мне должен верить, теперь я ни на полсловца не солгу! Помнишь Пашу, шестнадцатилетнего чистого мальчика, который изредка просыпается в тебе? Он всё сетует на несправедливое устройство ада, на то, что истязуемые грешники не ведают Истины, на то, что покаяния лишены. Это ведь его, Пашина слеза на твоей щеке – помнишь?..

Крупная дрожь, почти конвульсия, проструилась по телу дяди Паши снизу вверх, и голова сильно мотнулась в сторону, словно от удара. Бес понимающе кивнул и потер неприметно изменившиеся ладони – что-то с количеством пальцев.

– Вижу – помнишь! – удовлетворенно констатировал черт. – Ты ведь стыдишься его, чистого мальчика, ты ведь жалеешь его, страдальца!.. А помочь-то ему можно, еще как можно.

Ведь настоящий, настоящий-то ад, до которого ты не допрыгнул, – он ведь справедлив, в нем действительно плач и скрежет зубовой, и все всё понимают. Ну, так что?..

Дядя Паша молча дрожал и затравленно смотрел то на пассажиров, то на беса, то на изуровненное морозом стекло; след от разгоряченного лба уже успел затянуться наледью.

– Вижу – понимаешь, всё понимаешь! – почти ласково сказал искуситель. – Тебе только успокоиться надо, чуть-чуть успокоиться, а я пока расскажу про свою работу. Говоря по правде, самое сложное было шестнадцать лет назад – довести тебя до грехопадения. А насчет того, чтобы из окошка сигануть – тут просто маленькая подсказочка нужна была, а не подкажи я, ты бы и сам, пожалуй, додумался. А после самоубийства я уже полное право на тебя получил – самоубийца ведь не прощают... Натешился я, конечно, вдоволь! Приятнее всего было, когда ты свою мать до инсульта довел... Помнишь?

Дядя Паша беззвучно, бесслезно рыдал, колотясь головой о стекло, но вдруг перестал.

– А вообще, – говорил между тем черт. – А вообще, я бы мог спокойно подождать, пока ты сам не умрешь. Но ты мне уже наскучил! Извини, но это так!

– А у меня точно получится? – удавленным голосом просипел дядя Паша.

– Из окошка-то? – небрежно уточнил искуситель. – Разумеется, получится. И прямихонько в справедливый ад.

– Ладно, – согласился дядя Паша и, подумав, добавил: – Спасибо.

Бес ничего не отвечал, вид его был торжественен и сосредоточен, а дубленка, неприметно утратив цивилизованность, превратилась в большое черное руно, накинутое на плечи.

«Вот и кончилось... – подумал многострадальный человек. Так думают, глядя на титры, ползущие снизу вверх по экрану телевизора. – Вот и кончилось...»

Ум его был ясен, предельно ясен, и он спокойно вспоминал все гадости и нелепости, сотворенные во второй половине жизни. Так после просмотра фильма спокойно вспоминают о гнусных поступках главного злодея именно потому, что фильм закончился показом тяжкого топора, заслуженно падающего на злодейскую шею, и сырым звуком за кадром.

Человек отлично понимал, что бес прав, что второй дубль – долг перед тем чистым мальчиком, что дубль этот будет удачен. Он всё понимал, но вне зависимости от его воли трусость (нормальная трусость здравомыслящего человека) обуяла его. Он и клял себя, и Пашу вспоминал, и на откровенного беса косился, но постыдный страх не исчезал. И тогда человек, припомнив кое-что и обнадежившись, принялся торопливо соскребать наледь с заветного оконца.

В бытность свою бесноватым он иногда в тоске выл на луну, и тоска улетучивалась. В прошлый раз и луна, и звезда были в окошечке, будто отражения в проруби, но теперь осталась лишь звезда, доселе так хорошо, так успокоительно сопутствовавшая дяде Паше. И от безысходности, от страха неминуемой гибели, от тоски по непонятому миру человек завыл. Если бы звери, твари бессловесные, могли молиться, самая горячая, самая выстрадавшая их молитва звучала бы именно так.

Черт шарахнулся в сторону, не в силах слушать; пассажиры повскакивали с сидений, не в силах слушать; сам человек зажал ладонями уши, не в силах слушать!

И свершилось чудо. Застыли все люди в троллейбусе. Застыли все троллейбусы в городе. Застыли все города на Земле. Застыла Земля в космосе. Застыла Вселенная. На короткий миг, необходимый для чуда, время остановило течение свое.

– Он мой! – сказал бес кому-то.

– Вы что – Гёте обчитались?! – возмутился бес.

– Но ведь он уже убил себя, он уже... – объяснительно забормотал бес.

– Делайте как знаете. Мне себя упрекнуть не в чем, – уныло произнес бес и дерзко добавил: – Всё равно, что Варавву освободить!

И исчез.

Время возобновило течение свое. Пассажиры тихо и спокойно сели на места, несколько удивленные тем, что непонятно с чего единодушно вскочили. Человек, всё видевший и всё слышавший, рыдал, и слезы его были обильны. Долго ли рыдал он, коротко ли, но источник слез иссяк, и подумал человек: «Кто я? Я уже не чистый мальчик, не Паша. Я уже не бесноватый, не дядя Паша. Кто я? – Павел умиленно всхлипнул. – Три жизни... Сподобил же Господь!»

И Павел принялся усердно, жадно молиться: вот они, молитвы, вот, ничего, ничего он не забыл... «Зачем я Тебе, Господи? – спросил он наконец. – Я калека, человек никчемный, многогрешный. Зачем?..»

– Роддом! – предупредил троллейбус ржавым голосом, остановился и распахнул двери.

Павлу вдруг показалось, что в салоне невыносимо жарко и что жар ежесекундно усиливается. Размыкая третий троллейбусный круг, Павел выскочил вон.

## Вне кругов. Свет

Захлопнув двери, троллейбус уплыл в неосознаваемый, неразличимый для глаз мрак. На остановке не было никого, кроме Павла, коленапреклоненно стоящего на утоптанном, но поразительно чистом снегу.

В тот миг, когда Павел ступил на заснеженную земную твердь, произошло нечто неизъяснимое: если в троллейбусе с соизволения беса в овечьей шкуре он вспомнил всё, что было в годы умопомрачения, то теперь он тоже вспомнил. Вспомнил то, чего не знал раньше и чего почти никто из живущих на земле не знает.

Незачем было думать об этом, незачем было пытаться понять – да он и не пытался. Звезда висела над Павлом и, едва он поднялся с колен, колыхнулась и поплыла вперед. Тихо плача, он пошел следом.

Павел почти не удивился, осознав, что уже не хромает.

*Пенза, 1999*

## II.

# ВРАЧЕБНИЦА повесть

*Понеже пришел во врачбницу,  
да не неисцелен отыдеши\*.  
Окончание молитвы перед исповедью*

## *Неделя первая*

– Адрес?

Он назвал.

– Полис есть?

– Есть.

– На что жалуетесь?

– Высокая температура, сильный кашель, слабость.

– Сколько дней болеете?

– С первого числа.

– Новый год, наверное, так хорошо отметили?

– Я его не отмечаю.

– Почему?!

– Я Рождество праздную.

Доктор с любопытством посмотрел на больного и поинтересовался:

– И как же вы его праздновали?

– Почти никак. В церковь сходить не смог. Позавчера вечером и вчера утром тропари отчитал, разговелся – вот и весь праздник.

Несколько мгновений врач изумленно глядел на собеседника, и лишь внезапный глубинно-надрывный кашель больного заставил доктора встрепенуться, вспомнить о профессиональных обязанностях и продолжить расспросы:

– Кашель с мокротой?

– Сухой.

– Температура до сколько поднималась?

– До сорока.

– Возьмите градусник. Чем лечились?

– Аспирин, парацетамол, зверобой, мать-и-мачеха.

– Значит, только жаропонижающие и травы... Встаньте лицом к окну. Рот откройте.

– А-а-а!..

– Можно и без «а-а-а». Понятно... Язык не обложен, зев чистый... Садитесь. Аппетит был хороший в эту неделю?

– Так себе.

– Да еще и постились, – укоризненно заметил доктор.

– Это несложно.

– Не знаю-не знаю... Есть среди знакомых больные туберкулезом?

– Нет, вроде бы.

– Хорошо. – И вполголоса медсестре: – Оформляем в пульмонологию.

Медсестра взяла ненадписанную историю болезни и спросила:

– Фамилия, имя, отчество?

– Слегин Павел Анатольевич.

– Полных лет?

– Тридцать шесть.

– Полис дайте.

– Пожалуйста.

– Неработающий? – уточнила медсестра, переписывая с полиса недостающие данные.

– Официально – да.

– Карточка на вас заведена?

– Нет.

– Почему?

– Не болел.

– Не болел-не болел – и на тебе! – усмехнулся доктор. – Как же вы так?

– Не знаю.

– Но ведь у каждой болезни есть причина.

– Не спорю. – Павел Слегин улыбнулся.

– Перед Новым годом простужались, горло болело?

– Нет.

– Кашляли?

– Кашлять я три дня назад начал.

– Давайте градусник и раздевайтесь до пояса... Тридцать девять и две. А выглядите на тридцать восемь. Встаньте. – Врач заткнул уши фонендоскопом. – Дышите глубоко и ровно... Еще глубже... С силой выдохните... Еще раз... Одевайтесь. Ребра давно ломали? – неожиданно закончил он.

– В шестнадцать.

– Кто же вас так?

– Земля.

– В смысле?

– С четвертого этажа летел.

– Везунчик вы, однако, – произнес доктор, торопливо записывая что-то в историю болезни. – Ох, смеряй пока давление.

– Сейчас... Придерживайте вот здесь... Сто на шестьдесят.

– Идите на флюорографию, – сказал врач, закончив писать и протягивая Слегину тонкую крупноформатную книжицу. – Кабинет 116, налево по коридору.

– А какой диагноз? – робко спросил Павел.

– Подозрение на пневмонию. Снимок покажет. Пойдите, что у вас с ногой?

– С ногой? – удивленно переспросил больной, приостанавливаясь у двери приемного отделения.

– Вы сильно хромаете.

– Со мной бывает, когда задумаюсь. Извините. – И вышел, смущенный.

Он медленно, но безо всякого хромоножия двинулся по коридору, поглядывая на номера кабинетов и думая, что вот ведь странность: всего пару часов назад к нему приехал участковый врач, и он был дома, а сейчас уже в больнице, и история болезни на руках, и надо переобуться в тапочки. «Хоть не в белые – и то слава Богу», – мысленно пошутил Павел.

Вскоре он, сопровождаемый медсестрой, уже подымался в лифте на четвертый этаж и с улыбкой смотрел на неестественно чистый пол, на свои клетчатые шлепанцы, на спортивный костюм, в одном из карманов которого лежал гардеробный номерок. В гардеробе больной тоже улыбнулся, увидев, как на плечики с его одеждой натягивают большой брезентовый чехол с карманами для обуви. Всё было ново и интересно и заслуживало поощрительной улыбки, но вот только эта пустыня во рту, и колокольная медная тяжесть в голове, и слабость, слабость...

Лифт остановился, дверные створки разъехались в стороны, и Павел крупно вздрогнул: ему представилось, что он не в лифте, а в троллейбусе, возле задних дверей, и рядом стоит не белохалатная медсестра, а человек в дубленке, и этот человек, который и не человек вовсе, хочет шепнуть что-то на ушко...

– Сле-эгин!... – укоризненно протянула медсестра.

Павел вновь вздрогнул и поспешно покинул лифт.

Больного сдали с рук на руки двум милovidным девушкам с медпоста, и те, посмеиваясь с каким-то заговорщицким видом, стали рассуждать, куда положить новоприбывшего.

– Слегин, идите в палату № 400, – велела курносая сестричка, недавняя школьница. – Это рядышком, во-он там, третья дверь отсюда. Как только положите вещи, сразу возвращайтесь. Пойдете на уколы и капельницу.

В начале сестричкиной речи Павел улыбнулся ее забавной назидательности, а при словах об уколах и капельнице помрачнел и, попинывая сумку с вещами, пошел к указанной палате. «Этого не может быть! – подумал он вдруг, подойдя к прикрытой застекленной двери с табличкой «400». – Четверка означает этаж. Палата № 0...» Павел уставился на узорчатое дверное стекло, за которым что-то белело, и вспомнил, что три года назад стоял перед таким же, только на то стекло можно было дышать, оттоулив губы, а лед от дыхания волнисто плавился, плавился...

«Что-то серьезное начинается», – решил Павел, зажмурившись и покусывая губы. Прочитав Иисусову молитву, он открыл глаза, отворил дверь и, шагнув через порог, сказал:

– Здравствуйте.

\* \* \*

– Здравствуйте, – ответили ему три обитателя довольно просторной четырехместной палаты.

Слегин, чуть сутулясь от всеобщего липучего внимания, прошел к незастеленной кровати и поставил сумку на пустую тумбочку. Не присев, он с минуту смотрел в окно на хорошенькие конусообразные елочки и цепочку глубоких сизоватых следов, прострочивших сияющий наст.

– Хорошо сейчас на воле... – мечтательно произнес крепенький бородатый дедок, глядя во второе окно.

– На воле всегда хорошо, – пробасил обрюзгший мужчина лет под шестьдесят, сидящий на кровати наискосок от Павловой.

Ближайший сосед Слегина, изможденный старик, тяжело вздохнул и выматерился.

Павел, словно продолжая цепочку реплик, надрывно раскашлялся, вслепую сел на кровать, согнулся, упершись локтями в колени, и вскоре затих, утер слезы, встал и вышел.

Перед капельницей Слегина, уже лежащего на топчане в процедурной, железно ужалили в палец и взяли немного крови. Затем перетянули руку жгутом, заставили сжимать и разжимать кулак, прощупали вену, мазнули по ней спиртом и вкололи иглу, сняли жгут, покрутили колесико на регуляторе и спросили:

– Не жжет?

– Нет, – ответил Павел, подумав, что не такая уж это и страшная вещь – капельница. «Да и сколько их мне переделали лет двадцать назад...» – додумал он, невесело усмехнувшись.

Пузырьки всплывали на поверхность и там лопались. Подобно им, сквозь мутную толщу времени всплывали прозрачные воспоминания и лопались в мозгу Павла. Многие из воспоминаний были ужасны и, будто разрывные пули, могли бы разнести голову вдребезги, но лицо больного оставалось спокойным, взгляд катался на воздушных пузырьках, как на подводном лифте, а думалось примерно следующее: «Это мои грехи, и я их искуплю. Господь милостив».

Вспомнились мечты о монастыре («Я уйду в монастырь и буду молиться за тебя, мама!»), а после – гнусное грехопадение с плахой женского тела и полет с четвертого этажа. Вспомнились безумная уверенность в том, что попал в преисподнюю, и смерть матери, доведенной им до инсульта, и шестнадцать адских лет, срежиссированных неким находчивым собеседником. Вспомнились три троллейбусных круга в рождественскую ночь, и тот самый собеседник в дубленке, и крупная, нежная, чуть грустная звезда, неотвязно следовавшая за троллейбусом.

В ту ночь свершилось незаслуженное чудо: дядя Паша стал Павлом; и теперь, глядя в высокий больничный потолок, он благодарно улыбался, вспоминая, как три года назад глядел в небо и шел за звездой. Во время того звездного пути к церкви он услышал строгий небесный голос, сказавший: «Помни и молись».

– Господь милостив! – прошептал Павел. – Слава Тебе, Господи!

Капельница иссякла.

Закрутив до упора колесико регулятора, Слегин очень удивился своим действиям, поскольку раньше, лет двадцать назад, колесико закручивали медсестры или близлежащие больные. Сестричка, пришедшая вскоре, тоже удивилась и похвалила Павла.

– Вы, наверное, часто в больнице лежите? – поинтересовалась она, выдергивая иголку из его вены. – Держите.

– Редко, – ответил он, придерживая ватку и медленно сгибая руку в локте.

– Повернитесь на бок и приспустите штаны.

Жаропонижающий коктейль (анальгин с димедролом) девушка вколола каким-то изощренным способом: зажала два шприца между указательным, средним и безымянным пальцами полусогнутой ладони, вонзила двуигльчатый кулак в цель и внутренней его стороной вдавила поршни до упора.

– Держите ватку. Резко не вставайте, а то голова закружится.

– Спаси Бог, сестра.

– Не за что. Выздоровливайте.

С минуту Павел полежал, затем посидел немного на краю топчана, потом встал и медленно прошаркал в палату.

На его койке успела возникнуть стопочка постельного белья, и он стал стелиться; сил не было, и несколько раз приходилось садиться, чтобы отдышаться или откашляться. Когда постель была готова, больной почти упал на нее со стуком в висках и ощущением, что по лицу проводят и проводят видимой и осязаемой половой тряпкой. Он прикрыл глаза.

– Кто здесь Слегин? – спросил женский голос.

Врач и сестра с электрокардиографом на тележке сноровисто сделали свое дело, сняли зажимы с лодыжек и запястий обследуемого, удалили присоски с его груди и удалились сами вместе с длинной розовой лентой электрокардиограммы.

Лента ЭКГ внезапно вытянула из памяти Слегина другую ленту, поуже, с розовенькими буквами. Талонная лента хвостом свешивалась из сумочки кондукторши, и потная женщина в шарообразной шерстяной шапке нервно поглаживала эту ленту и непонимающе глядела на школьный проездной, предъявленный дядей Пашей, а потом кричала, кричала... Она кричала и после, но уже иначе, она так и выскочила из троллейбуса с безумным криком, и понеслась куда-то, а бес в дубленке ехидно ухмылялся ей вослед...

«Где ты теперь, матушка?.. – грустно подумал Павел, глядя в окно. – Узнать бы...» Температура плавно спадала от укола, по небу плыли длинные облака, и становилось всё легче и грустнее.

– Слышь, тебя как звать-то? – вдруг скрипуче спросил изможденный старик с соседней койки, до которой Слегин при желании мог бы дотянуться рукой.

– Павел.

– Паша, значит...

– Павел, – действительно поправил новоприбывший.

Остальным больным такая щепетильность не очень-то понравилась, но нужно было знакомиться, и знакомство состоялось. Ближайший сосед новенького, начавший разговор, назвался Колей, крепенький бородатый дедок с кровати у другого окна – Сашей, а обрюзгший, проспиртованного вида мужчина лет пятидесяти с гаком сказал, что зовут его Женей, а в имени «Паша» ничего обидного нет, но уж «Павел», так «Павел»...

- Ты с чем лежишь-то? – продолжил Женя.
- Подозрение на пневмонию. Снимок не готов еще.
- Тут у всех пневмония, у Коли только бронхит с сердчишком.
- Жидкость в легких скапливается, и дышать тяжело. Говорят, от сердца, – подтвердил сосед Слегина и безысходно выматерился.
- А я уже почти месяц тут, у меня двухстороннее, и никак не вздохнуть полной грудью, никак, – сокрушенно сообщил бородатый Саша и добавил с самоистязательной ухмылкой: – Стало бабушке полегче – реже начала дышать!
- Ну-у, затянул опять! – проворчал Женя. – Меня вот шесть раз бушлатили, весь изрезан, в брюхе сетка – и ничего, весел! «Говорунчика» бы сейчас – и совсем хорошо...
- Только и знаешь – «говорунчик»... – пробормотал бородач.
- А ты только и знаешь – ВЧК, – парировал весельчак и, подмигнув Павлу, доложил: – Он ведь у нас «чекист» – ВЧК да ВЧК...
- Пора в ВЧК! – громко прокрипел старичок Коля, заулыбался и коротко, по-доброму матюгнулся.
- Тьфу ты, околеешь с вами!.. – рассердился толстомясый Женя и вышел из палаты. В дверях он чуть не сшиб худощавую белохалатную женщину, отпрянул и смущено проговорил: – Извините, Мария Викторовна.
- Ничего, Гаврилов, идите, – сказала врач с усталой материнской улыбкой. – Только к тихому часу будьте в палате... Слегин Павел Анатольевич? – вопросительно прочитала она в истории болезни, потолстевшей от флюорографических снимков, и внимательно посмотрела на нового пациента.
- Да. Здравствуйте.
- Здравствуйте и вы. Разденьтесь, пожалуйста, до пояса – я вас послушаю.
- Слушая, Мария Викторовна отрешенно смотрела в окно, и лишь когда нужно было передвинуть прохладное металлическое ухо фонендоскопа, она коротко взглядывала на тело больного и вновь уносилась в законную бесконечность.
- Можете одеваться.
- Что скажете, доктор?
- У вас правосторонняя нижнедолевая пневмония. Снимок уже готов, да и хрипы прослушиваются. Жидкости в легких нет. Если всё пойдет нормально, недели через три выйдете отсюда. Пока от вас требуются двадцать пятиграммовых и десять десятиграммовых шприцев и десять систем для капельниц. На первом этаже есть аптека или родственникам закажите. Еще нужны тарелка, ложка и чашка: в столовой их, как ни грустно, не дают. Всё, кажется.
- А позвонить отсюда можно?
- Да, по карточке. Но разок можно и с поста. Поспешите: с двух до четырех у нас тихий час и по коридорам не ходят.
- Спаси Бог, вы очень хорошо всё объяснили.
- Опыт. Выздоровливайте. И если хотите звонить, то идите сейчас же.
- Когда она вышла, клинобородый Саша посмотрел на Слегина тихим осенним взглядом и пояснил:
- Это наш лечащий врач, Мария Викторовна. Замечательная женщина.
- Да, – согласился Павел и пошел звонить.
- Марья Петровна? – спросил он через пару минут, сжимая телефонную трубку. – Да, я. Положили с воспалением легких. Говорят, недели на три... Ничего страшного, не переживайте. Марья Петровна, окажите любовь: мне нужны чашка, ложка, тарелка и телефонная карточка... Именно так. В моей комнате на полке стоят «Жития святых» – знаете? В пятом томе лежат деньги. Принесите... Да, тарелок здесь нет... Пока еще не ел – не знаю. С четырех до

семи можно... Пульмонология, четвертый этаж, палата № 400... Лучше, наверно, с халатом и тапочками... Спаси Бог, Марья Петровна, до встречи...

Павел Слегин положил трубку, поблагодарил медсестру и вернулся в палату.

\* \* \*

Павел утонул в липко-буром сне сразу же, как только рухнул на визгливую койку после телефонного разговора. Саша и Коля дисциплинированно уснули в положенное время, а Женя еще долго материл какого-то гробовщика, но и эта обидчивая ругань постепенно теряла членораздельность и наконец переродилась в рокочущий храп. Слегин кашлял во сне и, спасаясь от кашля, хватался за хрупкую кромку чего-то коричневого, похожего на шляпку гриба, и на пальцы липла труха; воздух был колкий и мутный – это песчаная буря, а надо идти по гребню бархана и не свалиться, но навстречу шествует улыбчивый эфиоп, не разойтись, и песок стеклянно поет.

– Вот и опять встретились, – сказал эфиоп.

– Я не вернусь в троллейбус, – ответил Павел.

Эфиоп схватил скорпиона, пробежавшего мимо, и съел.

Павел осенил себя крестным знаменем и проснулся.

– Гробовщик, сволочь, с утра обещал... – устало ругался Женя.

– Плохо без «говорунчика»? – ехидно осведомился Саша.

– Не в том дело, я же ему больше денег-то дал, а он, гад, ничего не принес.

– Не донес, значит. Он ведь который уж день не просыхает.

– У меня сын в деревне – тоже такой, – заговорил Коля, сокрушенно матюгнувшись и продолжил: – Всё без меня там пропьет. Я соседям деньги оставил, хлеб ему чтобы покупали. И чего пьет?

– И не работает? – спросил Саша.

– Куда-а... – безнадежно протянул Коля. – Ему бы только глаза залить.

– А если жить скучно?... – пробормотал Женя, как-то уж очень серьезно, словно говорили о нем, а не о каком-то деревенском пьянице. – Лучше уж пить, чем вешаться. А «говорунчика» хряпнешь – так еще и заговоришь – а?

Он усмехнулся, и Павлу стало жутко от этой усмешки.

– Ты и без «говорунчика» вон какой говорун, – заметил Саша, – а я больше тридцати лет даже пива не пью – и ничего, не скучно.

– То-то ты только про ВЧК и талдычишь, тебе скучать некогда – совсем уже помирать собрался...

– Жень, ты обиделся, что ли?

– Да ну тебя, надоело мне всё...

– Успокойся, пожалуйста, раскричался на всю палату... Придет твой лифтер.

– Он не лифтер – он гробовщик. Ему бы на твоём ВЧК в самый раз работать.

– А что такое ВЧК? – спросил Павел.

Остальные трое улыбнулись, словно вопрос был из приятных и отвечать на него – одно удовольствие. Саша пригладил бороду и важно изрек:

– ВЧК – это Восточно-Чемодановское кладбище.

– Все там будем, – примирительно сказал Коля. – И пьяные, и тверёзые.

«И из всех будет лопух расти, – подумал Павел, вспомнив тургеневского Базарова. – Действительно, скучно».

За окном помутнело, завьюжило, в палате включили свет, медсестра принесла градусники и таблетки.

– Эх, демократия... Лампочек не могут вернуть! – обиженно проворчал Саша.

Из четырех ламп дневного света горели только две, а половинка одной из горящих, той, что над Павловой кроватью, предсмертно мерцала и потрескивала. «Светляк-подранок, – подумал Павел с улыбкой. – А вообще-то, маленькая неисправная лампа. А солнце – лампа большая и исправная. Такой лампы человеку не сделать». От этой мысли грусть растаяла, и стало весело, и ртуть в градуснике, зажато под мышкой Слегина, не захотела ползти дальше.

Марья Петровна, с робким дверным стуком вошедшая в палату, застала своего соседа по коммуналке смотрящим на мерцающую лампу и солнечно улыбающимся.

– Здравствуйте... Здравствуй, Павел.

– Здравствуйте, Марья Петровна, присаживайтесь – вот стул.

– Улыбаешься – значит, всё хорошо будет. Как же это тебя угораздило?

Больной, уже успевший сесть на кровати, пожал плечами, почувствовал градусник под мышкой, вынул, рассмотрел и положил на тумбочку.

– Сколько?

– Тридцать восемь.

– Уже лучше. Уколы тебе делали? Врач осматривал? – закончив с расспросами, женщина сообщила: – А я тебе пирожков испекла.

Она угощала его пирожками еще тогда, когда мама кормила Пашу с ложечки манной кашей. Она угощала его пирожками, присматривала за ним и убиралась в комнате, когда мама поглупевшего и охромевшего юноши умерла от горя. Она угощала его пирожками и последние три года, когда рассудок Павла прояснился и хромота пропала. Марья Петровна была первый год на пенсии и чрезвычайно обрадовалась, что сосед-горемыка, с которым она так долго нянчилась, позвонил именно ей и попросил помочь.

На тумбочке появились пирожки-«соседки», которые она в шутку именовала «коммунальными» и которые с детства любил Слегин. Такие пирожки, махонькие, со смородиновым вареньем внутри, выкладывались в глубокую сковороду впритык друг к другу и смазывались сверху яйцом, а затем ставились в духовку. «Соседки» получались настолько сплоченными, что при разделении их, палевоголовых, на беззащитно-белых боках некоторых пирожков развезались рубиновые раны.

Глядя на одну из раненых «соседок», Павел подумал: «А ведь какой-нибудь светский писатель мог бы перекинуть мостик от такого пирожка ко Христу! Тут и «жизнь за други своя», и рана, как от копья, и кусочек «тела и крови» спасенному другу достались... Вот только угодны ли Ему эти мостики?»

– О чем задумался? – ласково полюбопытствовала соседка по коммуналке.

– О Достоевском, – ответил Слегин. – Долго объяснять.

– Ты его всего, наверное, перечел в том году? – полуутвердительно спросила она.

– Почти всего.

Он закашлялся, сплюнул в платок, испуганно посмотрел на кровавые прожилки в мокроте и поспешно спрятал увиденное.

В палату вошла миловидная сестричка и потребовала градусники и результаты измерения температуры, а Павлу сказала следующее:

– Слегин, слушайте внимательно. Завтра с утра не есть: сдаете кровь из вены и из пальца. Вот в эту баночку – мочу, вот в эту – мокроту. И то и другое поставьте до восьми часов на тумбочку возле туалета. Мокроту сдавать так: почистили зубы, прополоскали рот, покашлиали, харкнули, закрыли крышкой.

Она говорила с серьезной назидательностью, словно девочка, играющая в куклы или в магазин, и на ее детском курносом лице таилась невинная лукавинка, как на лице той девочки, понимающей, что из кукольного мира, в котором она – строгая мама, можно легко перенестись во взрослый мир, где она – послушная дочка.

Обремененная градусниками и температурными записями, девушка удалилась.

– Ты, Павел, эту Светку заметь, – пробасил Женя. – Молодец пацанка.

– Уколы хорошо делает, – подтвердил Коля и хотел было добавить что-то привычное, но не добавил, вспомнив о Павловой посетительнице.

А Марья Петровна отдала Павлу заказанные миску, ложку, чашку и телефонную карточку, сходила в аптеку на первом этаже купить шприцы и системы для капельниц, вернулась и отчиталась:

– Вот шприцы на пять, вот на десять, вот системы, вот оставшиеся деньги. Взяла из книжки, как ты сказал. Их обратно положить?

– Оставьте себе; если вдруг что-то понадобится, я вам позвоню.

– Хорошо. Я постараюсь каждый день забегать, тут недалеко. Как здесь кормят? – спросила она у остальных.

– Сносно, – был ответ. – Но нам еще из дома приносят.

– И я тебя подкармливать буду – не пропадешь, – заверила она Павла.

– Спаси Бог, – сказал он. – Дело душеполезное, так что отговаривать не стану. Спаси Бог, Марья Петровна.

Вскоре она ушла, а немного позже позвали ужинать.

– Лежи, – коротко велел Слегину массивный Женя, забрал его тарелку и через некоторое время вернулся с двумя порциями, одну поставив на свою тумбочку, а другую – на Павлову. – А чай там – помой. Лучше здесь вскипятить, – присовокупил он.

Перед едой Павел беззвучно прочел «Отче наш» и перекрестился, после чего ощутил как минимум два изумленных взгляда, вязко-клейких, словно перловка в тарелке, и первую ложку он проглотил с трудом, вторую – уже полегче, третью – свободно, поскольку взгляды отлипли, а четвертой не захотел – наелся. Когда он перекрестился после благодарственной молитвы, взгляды были не так назойливы, но он подумал, что для чтения утреннего и вечернего правил придется искать какое-то убежище.

Убежище нашлось быстро: коридорчик, последней палатой в котором была палата № 0, заканчивался тупичком с окном, почти полностью заслоненным могучей пальмой. После молитв на сон грядущий Павел немножко постоял просто так, глядя на голубоватый перевернутый кулек фонарного света, а на Павловом плече покровительственно покоилась зеленая пальмовая длань.

Незадолго перед этим Слегину вкололи два антибиотика, и он опирался на безболезненную ногу, а нога дрожала от слабости. Когда он дошел до койки, мир успел расплыться почти до неузнаваемости, но всё-таки был узнан, а затем и сфокусирован. Больной разделся, лег под одеяло и, прежде чем заснуть, подумал, что он как свинец, залитый в форму. Тяжелый, горячий и неподвижный, он лежал на койке и видел сон.

Властная сила быстро волокла его по бесконечному извилистому коридору, выложенному пластами сырого мяса, и кружилась голова, а на очередном повороте кто-то метнул ему в лицо ежа, кажется, – да, ежа, Павел видел его, пока острые длинные иглы не пронзили глаз, пока не ослеп. Ослепленный, он в ужасе проснулся, но ничего не увидел – неужели?! – однако вскоре различил смутные ночные предметы, понял, что выключили свет, и вновь заснул. Сон был разнородно кошмарным, но одинаково коварным: еж, неожиданно кинутый в лицо и прокалывающий сперва сомкнутое веко и роговицу, затем заднюю склеру и тонкую кость глазницы, а потом – упругий мозг, – этот всепроникающий еж трижды вышибал сновидца в темную явь.

Следующая волна забытья бросила обессиленного Павла на песчаный гребень бархана, к ногам эфиопа, который в дневном сне съел скорпиона.

– Здравствуй, – насмешливо поздоровался чернокожий. – Давно не виделись.

Павел оперся на руки, поднялся на колени, на ноги и, прямо посмотрев в его лицо, подтвердил:

– Да, давно.  
– Ты едва стоишь – совсем слабенький, – заметил супостат.  
– Поэтому ты и пришел?  
– Как сейчас выражаются, надо ловить момент. Три года к тебе было не подступиться.  
– И чего ты хочешь?  
– Справедливости, – ответил эфиоп взволнованно. – Из-за тебя надо мной там смеются!  
– Я был твоей добычей, и это было справедливо, – согласился Павел. – Но милосердие выше справедливости, и...

– Да заткнись ты! – взревел бес. – Ты мне проповеди не читай, пожалуйста! Хватит и того, что ты надо мной в утренних молитвах глумишься! Учти, родной: если я тебя не затащу в троллейбус, то попросту умерщвлю. Сил у меня хватит.

– Если Бог со мной, то кто против меня? – Человек жалостливо глянул на черта и, отвернувшись, сел на песок.

Хотелось пить; Павел перекрестил близлежащее миражирующее марево, и оно окрепло, превратившись в желанный оазис. Путник спустился со склона бархана под пальмовую тень, припал к ручью, утер губы, кратко помолился и заснул. Проснувшись на больничной койке, он слегка удивился, но быстро опомнился, оделся и отправился в пальмовую молельню. За окном стлался пустырь, припорошенный предрассветно-розоватым снегом, а из-под снега проглядывал лабиринтообразный фундамент потенциального здания. «Замороженная стройка», – подумал Слегин с улыбкой, вдохнул, выдохнул и принялся за утренние молитвы. Длинный заздравный ряд он закончил той же фразой, что и раньше:

– Молю Тебя, Боже, и об искустителе моем бесе, имя же его Ты, Господи, веси\*.  
Получалось в рифму.

\* \* \*

– Здравствуйте, – сказала Мария Викторовна, стремительно входя в палату № 4 с фонендоскопом на шее, тонометром в левой руке и кипочкой историй болезни в правой.

Больные ответно поздоровались и стали с привычной поспешностью снимать рубашки и майки. Обход лечащего врача производился ближе к полудню, когда все пациенты уже позавтракали, укололись и лежали под капельницей. Слегин помимо вышперечисленного сдал четыре анализа, в том числе кровь из вены и из пальца; утренняя больничная суета сильно утомила Павла.

Сначала доктор осмотрела старичка Колю, фамилия которого, как оказалось, была Иванов и произносилась с рабоче-крестьянским ударением. Женщина задавала вопросы и слушала плохо сформулированные ответы, слушала она также сердцебиение и дыхание, а кроме того – пульс при измерении давления. Лицо ее было печальным, сострадательным и безмерно усталым. Никак не прокомментировав состояние Иванова, она перешла к Слегину.

– Как вы себя чувствуете сегодня?

– Как и вчера. Температура, слабость. От процедурной до палаты еле дошел.

– Вам и нельзя так далеко ходить. Пока – только до туалета, а уколы и капельницы вам будут делать в палате, как Иванову. Микстуру от кашля пьете?

– Пью. У меня мокрота с кровью появилась.

– Кровь сгустками? Прожилками?

– Прожилками.

– Ничего страшного. При сильном кашле в легких капилляры рвутся. Как кашель помягче станет, всё пройдет.

Доктор послушала Павла фонендоскопом, измерила давление и перешла к следующему.

– Карпов, как у вас сегодня?

– Пока жив, – ответил крепенький бородатый Саша. – А какое, кстати, сегодня число?

– Девятое, вторник. Дышите глубже.

Обрюзглого Женю, живот которого был стянут биндом, Мария Викторовна осмотрела бегом и на прощание сказала:

– Гаврилов, завтра сдадите анализы и сделаете флюорографию. Вас на выписку.

– Везет тебе, – позавидовал Карпов, когда врач удалилась. – А мне еще не знаю сколько торчать.

– Везет, как утопленнику, – хмыкнул Гаврилов и, кивнув Слегину, объяснил: – Я ведь, Павел, как попал-то сюда? В подъезде по пьяни навернулся с лестницы и отключился на бетоне. И перелом, и воспаление легких – целый месяц тут лежу.

– У нас в деревне падать некуда, в погреб разве, – заметил Иванов. – Как бы мой оборот туда не... – Мат, разумеется.

– Не ругайся, ради Бога, – попросил Павел, укутываясь одеялом: его сильно знобило.

– А как мужику не ругаться? – удивился Коля.

С минуту Слегин молча глядел на голубое заоконное небо, и озноб нарастал в течение этой минуты, перерождаясь в неуправляемую дрожь, почти конвульсии, и больной едва смог выговорить просьбу о том, чтобы кто-нибудь сходил за градусником. За градусником пошел Карпов, а Павел изо всех сил старался не разрыдаться, понимая, что рыдания эти – результат всего лишь высокой температуры, а не высокой скорби о грехах мира. Прочитав несколько раз Иисусову молитву, он успокоился раньше, чем принесли градусник.

Температура доползла до сорока, что было на два градуса выше утренней. Быстроногая медсестра влетела в палату и сделала пылающему больному жаропонижающие уколы. Ближе к вечеру температура вновь подскочила и ее опять сбивали, а ночью кошмарный эфиоп снова таскал Павла по извилистым коридорам и кидался ежами из-за угла. Пальмовая молельня располагалась не дальше туалета, так что Слегин прошел туда утром, не нарушая предписаний врача, отчитал же он только молитвенное правило Серафима Саровского: на большее сил не хватило.

Марья Петровна пришла навестить Павла после тихого часа и очень расстроилась, увидев бледно-зеленое лицо, заостривший нос и воспаленный взгляд соседа. А тот очень настоятельно наказывал ей:

– Вот телефон, Марья Петровна, позвоните прямо отсюда, по карточке: я не дойду. Это квартира. Спросите отца Димитрия. Это священник. Скажете, что я сильно болею, пусть придет. Собороваться, скажите, пока не надо – просто причаститься. Всё запомнили?

– Запомнила, родной, сейчас... Где твоя карточка?

– Вот здесь. Вот она. Позвоните Христа ради...

– Не волнуйся, только не волнуйся... Я быстро.

Через несколько минут она вернулась.

– Он завтра утром придет.

– Слава Богу!

Вечером, после молитв на сон грядущий, уже лежа в постели, Павел мысленно готовился к ночной пытке. «Главное – не бояться, – думал он. – Господь меня не оставит. А завтра Он навестит меня и принесет Жертву ради меня и я снова стану Христовым». Заснул он с таким ощущением, словно лежит не на постели, а на широкой деревянной лавке, как стародавний провинившийся мужик, и он обнажен, и изо всех сил стискивает отполированные края лавки мозолистыми ладонями, и он готов, он ждет, ну что же ты медлишь?! А истязатель с кнутом в руке стоит рядышком, смотрит и ухмыляется.

Заснув окончательно, человек ужаснулся: никаких мучений не было и в помине – напротив, ему было очень удобно. Он сидел в огромном глубоком кресле со спинкой, значительно отклоненной назад, так что изменить очень комфортное положение тела казалось невымысли-

мым, и эта приятная несвобода шелковистым коконом обволакивала недавнюю готовность Павла к решительной битве, и он подумал сокрушенно: «Увы мне, я погиб!»

– К чему такие черные мысли? – услышал он знакомый голос.

Чуть повернув голову влево, человек увидел аналогичное кресло, а в нем – давнишнего знакомого, одетого в пушистый, можно даже сказать курчавый, шерстяной свитер, синие джинсы и тапочки.

– В дубленке сидеть неудобно, – пояснил бес.

Между креслами располагался журнальный столик, а на нем лежали рядышком беспроводной джойстик и Библия, книга – со стороны Павла. Стены и потолок отсутствовали, а кресла и столик стояли на бесконечном паркетном полу, и кресла были взаимно повернуты под таким углом, что сидящие могли при желании видеть один другого. Впрочем, потенциальные собеседники могли глядеть прямо перед собой, и тогда их взоры пересеклись бы и разминулись на нейтральной территории, незаметно и безболезненно.

– В такие кресла психоаналитики сажают своих клиентов, – неторопливо проговорил черт. – Хорошие кресла: в них люди расслабляются и могут без стыда рассказывать о своей жизни. Один умный человек изрек такой афоризм: «Психоанализ – это исповедь без отпущения грехов». Психоаналитик молчит да кивает, а клиент выговаривается, платит деньги и уходит, грехи же остаются, – славно... Но я не психоаналитик и молчать не буду, твои грехи я и так знаю, а отпустить их я не имею права.

Взгляд Павла тонул в бледной бесконечности, логичная и спокойная речь искусителя расслабляла и обволакивала, и человек никак не мог сосредоточиться.

– Кстати, – продолжил бес, – извини меня, пожалуйста, за прошлые ночи. Эти мясные коридоры, головоломные лабиринты, ежи в глаза – бр-р!.. Средневековье какое-то! Я ведь и сам понимаю, что это не метод, но уж очень я зол тогда был, очень обижен, я скорпиона-то от чистого сердца слопал, безо всякой рисовки, – вот до чего ты меня довел своими молитовками. А всё-таки приятно было, что ты меня даже в эфиопском облике узнал, чертовски приятно! Это я сейчас вроде инженеришки из кухонных философов, таким ты меня целых шестнадцать лет видел, а там-то – пустыня и негритос навстречу по гребню бархана прет, а всё-таки узнал... Эфиопом-то, «темноликим мурином», я представился, чтобы тебе приятное сделать: ты ведь «Жития святых» всё читал, ну а там бесы частенько в таком виде являлись. Хотя, по большому счету, негры – люди как люди, есть и христиане среди них...

«Вздор он какой-то говорить начал, – подумал Павел. – Порфирий Петрович точно так же Раскольников допрашивал, внимание усыплял. Но я-то не убийца!»

Черт ухмыльнулся и, облизнув губы, посетовал:

– Ты, к сожалению, в игры компьютерные не играл, ничего в них не смыслишь – жаль, очень жаль. Одну из граней моей пустынно-негритянской метафоры упустил. Есть, к твоему сведению, такие игры, где люди выбирают одного из нескольких виртуальных убийц и управляют его действиями. Цель игры – убить виртуального противника. Ну хочется людям убивать, ну нравится им убивать призраков, поскольку за убийство призраков уголовной ответственности не предусмотрено! Пусть тренируются. А с моей пустынно-негритянской метафорой связана старенькая игра «Mortal Combat» («Смертельный бой»): там в одной из версий два бойца дерутся в пустыне, на бархане, совсем как мы тогда. Ты, кстати, в тех раундах победил. Так что для меня выгоднее не сражаться с тобой, не пытаться тебя, а попросту поговорить.

– Выгоднее, – согласился Павел.

– Мы же цивилизованные существа! – обрадовано воскликнул искуситель. – Молодец, что заговорил вслух: твои мысли удобочитаемы. Ты вот думал недавно о Достоевском, о допросе Раскольникова Порфирием, о том, что не убийца. Аналогия похвальная, а по отношению ко мне – так просто комплиментарная. Но всё-таки неверная. Ты – убивец.

– Нельзя мне было так думать, – согласился человек. – Здесь ты прав.

– Раскольников всего-то двух старух убил, а ты – себя! И забыл!

– Я еще мать убил, – добавил Павел.

– Ну, тут уж скорее я виноват, – свеликодушничал лукавый. – У тебя тогда уже не было свободы воли, ты был вроде компьютерного призрака, а я играл, и играл великолепно... – Он ностальгически улыбнулся и прикрыл глаза.

– Но Бог меня пощадил.

– Но Бог тебя пощадил, что было крайне несправедливо. Однако сейчас ты серьезно болен и я сижу очень близко от тебя и вновь искушаю. С чего бы это?

– Значит, я согрешил.

– Так. Но вопрос в том, насколько серьезен грех. При серьезном согрешении Бог иногда попускает нам вселиться в грешника. Тебе это хорошо известно. Возьми, пожалуйста, книгу и прочти из одиннадцатой главы от Луки стихи с двадцать четвертого по двадцать шестой. Они мне очень нравятся.

Павел удивленно посмотрел на беса, взял Библию, нашел указанное место и прочел:

– «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местами, ища покоя, и не находя говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел. И пришед находит его выметенным и убранным; тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и вошедши живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого».

– Не о нас ли с тобой здесь написано, – а, дядя Паша? – очень живо поинтересовался черт, легко встал с кресла, обогнул столик и остановился в полушаге от Павла.

Человек оцепенел, Библия вывалилась из его рук, и он не видел, куда она упала, зато краем зрения он ясно различал, что в кресле кто-то сидит – нет, уже не сидит, уже идет, уже пришел, уже встал рядом с первым, подмигнул третьему, сидящему в кресле, и спросил с издевкой:

– Не о нас ли с тобой здесь написано, – а, дядя Паша?

Семь раз Павел услышал страшный вопрос, семеро стояли перед ним, напрочь заслонив бледную бесконечность, а когда восьмой бес, одетый в курчавый шерстяной свитер, синие джинсы и тапочки, встал из кресла, оно опустело. Высоко подскочив, черт запрыгнул на журнальный столик, и джойстик жалобно хрустнул под его копытом (тапочек уже не было). Нечистый навис над человеком, вплавленным в психоаналитическое кресло, и тихо-претихо сказал:

– «Безводные места», по которым я ходил, – это пустыня из «Mortal Combat». Ты проиграл, дядя Паша.

Он протянул когтистую шестипалую лапу и нежно погладил Павла по голове.

– Нет!!! – заорал человек и, вскочив с постели, схватился за грудь.

Дышать было нечем, смотреть было некуда, ледяная сердечная ломота мгновенно проморозила всё тело, но Павел, прежде чем превратиться в прозрачную статую, которой суждено упасть и расколоться, успел взмолиться: «Господи, пощади!» И сердце не разорвалось.

Уже оттаивая, но всё еще сжимая грудь, где сердце чугунно колотилось, он извинился за крик и попросил у старичка Иванова, сердечника с хроническим бронхитом, таблетку валидола.

\* \* \*

– Доброго здоровья! – проговорил отец Дмитрий, несмело входя в палату № 0.

Трое больных ошалело посмотрели на священника – лет тридцати пяти, длинноволосого, с лениворастущей бородкой, одетого в долгополую широкорукую рубашку и с ребристой скуфеей на голове.

– Здравствуйте, – разноголосо ответили те трое, недоуменно глядя на гостя.

Батюшка целеустремленно прошел к четвертому, уже вставшему с кровати, радостно улыбающемуся и просящему благословения. Сухо-шершавые губы благословленного чуть

царапнули тыльную сторону священнической ладони, а после Павел и отец Димитрий троекратно расцеловались.

– Здравствуйте, Павел.

– Здравствуйте, отец Димитрий.

– Садитесь, ради Бога: вы едва стоите, – попросил священник, переставляя легкий деревянный стул, ночевавший возле больничного стола, себе за спину. – Как же вы так?

Застилая красным платом страшноватый железногий стол, который был расположен в простенке между окнами и частично занят полупустыми пузырьками с микстурой, иерей досадовал на себя за глупый вопрос.

– По грехам и муки, – ответил Слегин, продолжая стоять. – Я уже успел с утра валидол иссосать – мне можно причащаться?

– По болезни можно, – сказал отец Димитрий, затепливая от зажигалки свечу и раскладывая на плате необходимое для таинства. – Сердце болело?

– Да.

Из сумочки-дароносицы, висевшей на шее поверх наперсного креста и епитрахили, батюшка достал преждеосвященные Дары и спросил, обернувшись:

– Еще кто-нибудь желает причаститься?

Трое смущенно отказались.

– Помолимся, Павел. Садитесь вот сюда, на стул.

– Я выстою.

– Садитесь, ради Христа. Вы больны. – И батюшка принялся быстро, но внятно читать молитвы.

Слегину было непривычно креститься сидя, но он понимал, что и впрямь мог не выстоять: он и теперь едва держал голову.

– Внемли убо: понеже пришел во врачбницу, да не неисцелен отыдеши, – читал отец Димитрий, а Павел взволновано внимал, готовясь к тому страшному и радостному, что должно свершиться.

К удивлению больного, исповеди не было: священник сразу накрыл ему голову епитрахилью и с торжественной медлительностью стал проговаривать разрешительную молитву, а раб Божий Павел с горячечной поспешностью вспоминал свои грехи и каялся перед Господом.

А потом было причащение, хлебный и винный вкус Тела и Крови Христовых и счастливое понимание того, что недавний ночной ужас не повторится, что пустынная битва выиграна бесповоротно и что бес не сможет войти туда, где обитает Бог.

«Он и раньше не имел власти вселиться в меня, – понял Павел, – он просто хотел убить. Если бы я умер без причастия, со всеми грехами, у него был бы шанс». Слегину хотелось рассказать об этом и многом другом отцу Димитрию, но язык строптивился, и сугубая слабость тянула лечь и молча смотреть на небо, и больной понял, что еще не время.

Священник дал ему поцеловать большой медный крест, выслушал благодарность и пробормотал:

– Ничего, Павел, теперь станет полегче. Я буду за вас частицы на проскомидии вынимать. Выздоровливайте. – Он задул свечку, фитилек зачадил, и пришлось прищипнуть его, после чего свечка была положена в ту же кожаную сумку, куда и прочая богослужебная утварь. На больничном столе остались лишь полупустые пузырьки с микстурой.

– Отец Димитрий, мне поговорить с вами надо, не сейчас только...

– Я через неделю снова приду причащать вас, тогда и поговорим. Сегодня у нас четверг – в следующий четверг с утра постарайтесь не есть и не пить. И молиться не забывайте, если в силах. До свидания.

– До свидания, – ответили все четверо и дружно проследили, как черные ряса и скуфейка исчезли за белой застекленной дверью, задернутой изнутри белой же занавеской, а проследив, напряженно притихли.

Священник уже спустился на лифте, уже оделся, уже вышел, и лишь тогда неловкая тишь раскололась от призывного клича: «На завтрак!» Больные засуетились, загремели кружками и мисками, заторопились в столовую, а батюшка в черном долгополом пальто, издали похожем на рясу, и с той же скуфейкой на голове неспешно шел к троллейбусной остановке, но вот он уже и скрылся, и Слегин отвернулся от окна, а Женя Гаврилов с двумя порциями каши вошел и сказал:

– Ешь.

Гаврилов нашел-таки прошлым вечером своего «гробовщика» и нынче был похмельно-серьезен.

– Зачем ты пьешь, Женя? – с болью спросил Павел, стараясь не морщиться от перегара.

– А что еще делать-то?

– В Бога верить. Ты же своим «говорунчиком» просто от Бога заслоняешься!

– Значит, хорошая штука «говорунчик», если им Бога заслонить можно – а?! Поздно мне, Паша, в Бога верить – помру скоро. Весь уже изломан, изрезан, в брюхо сетку вставили – в следующий раз уже в ВЧК отвезут, а не сюда. Повеселиться надо напоследок – а там уж и червей кормить.

– Послушай, но я-то ведь тоже весел. Весел, потому что счастлив, а счастлив, потому что верю в Бога. Сегодня, например, мне и умереть не страшно. До причастия было страшно, а сейчас – нет. Ты крещеный?

– Нет и не собираюсь. В партии тоже не состоял и не собираюсь. Я сам по себе. И нечего меня агитировать! В червей верю, а в Бога – нет!..

– Ты чего раскричался? – спросил Саша Карпов, входя в палату с кашей и чаем.

– Хочешь в ВЧК? – набросился на него Гаврилов. – А вот он – хочет. Надоели вы мне все, сами жрите свою кашу! Меня выпишут сейчас, я дома поем!

– Эк его с похмелюги!.. – воскликнул Коля Иванов с порога. – Чуть с ног не сшиб... Мой сын тоже так. – И добавил, глядя в тарелку: – Зря это он: всё-таки манная каша...

– Райский завтрак, – согласился бородатый Саша.

С минуту Павел смотрел в ближний угол, затем проморгался, волнисто вздохнул, помоллся и стал есть.

После обхода Женю Гаврилова выписали. На прощанье он пожимал остающимся руку и желал им выздоравливать поскорей, а они смотрели на него улыбочиво, с легкой завистью и желали остепениться, найти работу, пить поменьше и сюда уж не попадать – хватит.

– Не попаду, – отвечал Женя с пасмурной усмешкой и, протягивая руку Слегину, сказал: – Выздоровливай, Павел. Прости, если чем обидел.

– Бог простит. И ты меня прости, – ответил тот, слабо пожимая тяжелую мясистую ладонь, и коротко пожелал: – Выздоровливай, Евгений.

На пятничном обходе Мария Викторовна сказала Павлу, что он выглядит повеселее, а больной объяснил, что видел ночью хороший сон, очень хороший сон.

В субботу и воскресенье обходов не было, кровать Гаврилова пустовала, и ничего существенного, кроме визитов родственников, не происходило в палате № 0. Медсестры, в выходные бегавшие чуть медленнее, чем в будни, ставили больным капельницы и уколы, назначенные врачом, и записывали температуру.

У Слегина температура перестала скакать: она укрощенно прогуливалась в тесном вольере между тридцатью семью и тридцатью восемью градусами, и Павел, несмотря на продолжающееся кровохарканье, чувствовал себя значительно лучше.

Заходила Марья Петровна, с киселем, пирожками-«соседками» и вестью о том, что звонил отец Дмитрий и спрашивал, как там болящий.

– Передайте, что лучше, намного лучше, после причастия сразу лучше стало, – наказывал растроганный Слегин.

Главным же было то, что в эти ночи он спал спокойно.

Старичка Иванова ежедневно посещали родственники, каждый раз иные, и говорили о житье-бытье других родственников, весьма многочисленных, так что на глазах Павла из сохшегося корня, покоящегося на соседней кровати, произросло величественное генеалогическое древо. Ветви и веточки его приносили плоды, и старенький Коля питался этими плодами между завтраком, обедом и ужином. Однако больной жаловался, что худеет, что таблеток ему стали давать меньше, да и вообще – вся задница исколота... При родственниках он не матерился.

К Карпову почти каждый день приходила жена, благообразная старушка, которую он называл «баушкой», придавая и без того ласковому слову нечто баюкающе-аукающее. Беседовали они тихо и плавно, прямо-таки ворковали, и идилличностью своей напоминали Павлу гоголевских старосветских помещиков. Слегин слушал березовый шелест их бесед с почти молитвенной радостной грустью и задумчиво улыбался земному отблеску небесной любви.

В понедельник утром, сразу после обхода, в дверях палаты появился массивный мужчина с задорно-мальчишеским выражением на толстом, полувековой давности лице, огляделся, поздоровался и проследовал к незанятой кровати. Вскоре новенького зашла осмотреть Мария Викторовна, и стало известно, что больного зовут Михаилом Колобовым, что он уже месяц лечился от пневмонии амбулаторно, однако снимки оставались неважными и его решили положить в стационар.

– А раньше о чем думали? – пробормотала доктор, то ли спрашивая самого Колобова, то ли критикуя врачей, не уложивших сразу человека с такими снимками. – Сейчас снимки получше, конечно, но вы бы уже выписались, если бы месяц назад легли. Как себя чувствуете?

– Хорошо, – ответил Михаил, и было видно, что он говорит правду. – А обед скоро? – спросил он, когда Мария Викторовна ушла.

– А у тебя тарелка с ложкой есть? – осведомился Саша Карпов.

– Нет.

– Значит, и обеда тебе не положено, – заключил не без ехидства бородатый Саша.

– Ничего себе! – изумился новенький с таким простодушием, что остальные трое дружно рассмеялись.

– Демократия!.. – саркастически произнес Карпов.

– Вот и... – согласно выматерился Иванов, употребив вертикальное словечко, похожее на выхлоп стартующей космической ракеты.

## Неделя вторая

– Все как люди, а мы – как хрен на блюде! – смачно изрек Саша Карпов, чуть помедлил и брезгливо выдохнул: – Эх, демократия!..

Реплика его относилась, вероятно, к новостям, хриплогласно сообщаемым по радио.

Простуженный радиоприемник появился в палате двумя днями раньше, одновременно с Михаилом Колобовым, и был для Карпова настоящим подарком, поскольку давал еще один повод поговорить о политике. Бородатый Саша любил такие разговоры, как любят есть вяжущие, костистые, маломякотные ягоды черемухи, находя странное удовольствие в мучительной судорожной оскоmine. От политических разговоров набивалась не ротовая оскомина, а сердечная: душа застывала, судорожно вывернутая, будто язык после изрядного количества черемушных горстей, но хотя Карпов и жаловался Марии Викторовне, что никак не вздохнуть полной грудью, никак, – по случаю и без случая восклицал:

– Эх, демократия!..

До недавнего времени ему не везло с собеседниками: Женю Гаврилова волновали только воспоминания о прошлом, с социализмом не связанные, и «говорунчик»; Коля Иванов охотно поддакивал, но навряд ли понимал Сашу, разговор поддержать не мог, а если и пытался, то кричал что-то о родной свиноферме, да так громогласно, что Карпов морщился и старался его утихомирить; Павел Слегин поначалу был так плох, что даже попа позвал, тут уж не до политики, а в последние дни, хоть и полегчало ему, молчал, но вроде бы с интересом слушал Сашины рассуждения. И лишь с Михаилом Колобовым можно было, как оказалось, поговорить о «положении дел в стране» – всласть, до душевной оскоminy.

– Эх, демократия!.. – брезгливо отозвался клинобородый Саша Карпов на какое-то сообщение хриплогласного колобовского радиоприемника.

– Да ладно тебе, дядь Саш, – миротворчески молвил Михаил. – И раньше вертолеты падали, нам просто не говорили.

– Сомневаюсь я в этом, Миша. Раньше порядок был и деньги платили – с чего бы им падать?

И беседа завертелась вокруг того, скрывали или нет раньше что-либо, а если скрывали, то что именно и зачем.

– Ты, Миша, всю жизнь на одном заводе вкалываешь, ну, в армии отслужил еще. А я тридцать лет за баранкой, весь Союз объездил, много чего видел, – наставительно говорил Карпов. – Теперь, правда, уже отъездился, – грустно добавлял он и замирал, причесывая воспоминания. Когда мысленная расческа добиралась до 90-х годов, она словно выезжала на лысину, больно царапая голую кожу, и тогда Саша принимался костерить демократов: – Демократы, получается, не о правде пекутся, а лишь бы у власти удержаться, потому и хаю коммунистов, – заключил он. – Раньше коммунисты для дикторов бумажки писали, теперь – демократы; вот и вся разница.

– Да демократы – это те же коммунисты, – парадоксально заявил радиовладелец. Только теперь они со свечками в церкви стоят и про рыночную экономику говорят. Согласись, дядь Саш, ведь партия с головы сгнила. Зато теперь товары появились.

– Миша, не коммунисты они, а перевертыши. Много в мире ...удачков – и в очках, и без очков. А насчет церкви – это да. Все верующими стали – ужас какой-то! – Карпов, по видимому, не хотел дискутировать на тему гниения с головы и появления товаров. – И ведь не все из-за моды, некоторые от души веруют.

Он коротко глянул на Павла, молчаливо лежащего на кровати возле противоположной стены.

– Жить стало труднее, вот и веруют, – предположил Колобов.

– Труднее всё-таки! – победоносно воскликнул собеседник.

– Да я не о том. На себя надо надеяться – и заработаешь получше, чем раньше. А у нас привыкли к «зряплате», вот и надеются на Бога. Раньше – на государство, а теперь – на Бога. Это, вроде того, самовнушение. – Последнее слово было произнесено неуверенно, как малоупотребимое. – А Бог разве поможет?..

– Поможет, – прошептал Павел Слегин, вспоминая, как три года назад, на исходе третьего троллейбусного круга, был незаслуженно помилован Господом. «Ничего себе самовнушение!..» – подумал он и щадяще улыбнулся.

«Как мне отблагодарить Тебя, Господи?» – спрашивал Павел, идучи той рождественской ночью из церкви. Он вспомнил три слова, сказанные ему несколько часов назад строгим небесным голосом. «Помни и молись», – это было похоже на ответ, опередивший возникновение вопроса, опередивший всякую попытку понять произошедшее. Но по пути из церкви мышление Павла, очистившееся от многолетней проказы, работающее, как у шестнадцатилетнего отличника Паши, цепкое и порывистое, склонное к рефлексии и максимализму, – мышление Павла поставило вопрос: «Как мне отблагодарить Тебя, Господи?» И ответом: «Помни и молись», – не удовлетворилось.

«Любой оказавшийся на моем месте помнил бы и молился, – размышлял спасенный. – Но ведь я-то самоубийца! Если я прощен...»

Ему вспомнилось, как совсем недавно, совсем недавно он доказывал теорему, стоя у коричневой доски, с белым мелком, зажатым между большим, указательным и средним пальцами (если бы не мелок, этой щепотью вполне можно было бы перекреститься). Прямоугольный меловой брусок то бесследно проскальзывал по доске, то густо крошился, а юноша комментировал недолговечные записи уверенным и снисходительным отличническим голосом: «Если угол альфа равен...»

«Если я прощен, – размышлял Павел, – то спасение возможно для страшнейших грешников. А коли так, буду молиться обо всех знакомых – и о некрещеных, и о самоубийцах... И о бесе-искусителе надо молиться, – подумал он, улыбнувшись. – Молю Тебя, Боже, и об искушителе моем бесе, имя же его Ты, Господи, веши».

Светили фонари, звезды и луна. Поклонившись Богомладенцу, люди расходились по домам, подобно давнишним восточным волхвам, неторопливо возвращавшимся в страну гороскопов. Обгоняя остальных, легко и стремительно по дороге шел человек в фуфайке, продранной на рукаве, шел и, ничего вокруг не замечая, вопрошал: «Как мне отблагодарить Тебя, Господи?»

И вдруг он остановился.

– Да! – восторженно воскликнул он. – Это будет лучшей жертвой!

На него удивленно поглядели несколько прохожих, оказавшихся рядом, но вот он уже пошел, пошел молча и неторопливо, вот он уже свернул на боковую улицу, нам с ним не по пути, и незачем о нем думать, скоро дойдем до дому – и спать, спать, спать...

Скучающий охранник в камуфляже и две кислотикие проститутки молчаливо курили на крыльце круглосуточного продовольственного магазина.

– Мой сосед идет, – сказала одна из барышень.

– А ты разве бомжуешь? – пошутил охранник.

– Он не бомж, он этажом выше живет, я – на третьем, а он – на четвертом, его дядя Паша звать.

– Твой хахаль, что ли? – спросила вторая и расхохоталась, а потом продолжила вполголоса, на фоне смеха собеседников – продолжила мрачно и ожесточенно: – Алкаш отмороженный, мой батяня такой же, ненавижу...

– Он, вроде бы, и не пьет – у него просто с головой не порядок. Он, кажется, с крыши свалился и с тех пор хромой и шизанутый. А пить – не пьет.

– В каком это месте он хромой? – любопытно спросил охранник.

– Ой...

Миновав яркий магазин, Павел продолжил путь, освещаемый скудным светом фонарей, звезд и луны. Однако внутри пешехода сияло такое солнце, что глаза невольно щурились и слезились, губы улыбались, а мысли были медленными, мягкими и словно масляными.

«Это будет мой дар Тебе, Господи, – думал он. – Ты вернул мне разум, а я подарю его Тебе. Юродство Христа ради, высший путь служения Богу... Мне и убеждать-то никого не надо будет, что с ума сошел: убедил уже...»

– Не хромает, – проговорил охранник, – но лыбится, как придурок, это уж точно.

– Леш, он же еще вчера утром хромал, я видела...

– Значит, рождественское чудо, как у Диккенса, – ухмыльнулся Леша.

Он умудрялся совмещать работу магазинного цербера, а попутно и сутенера, с учебой в пединституте на филфаке и очень боялся, что не сдаст зарубежную литературу в эту зимнюю, зимнюю сессию.

Стояла летняя теплынь, светило солнце и загнанно билось сердце, когда шестнадцатилетний Паша положил на мамину Библию записку («Прости меня») и выбросился из окна. Вернувшись домой морозной рождественской ночью, Павел первым делом отыскал ту самую Библию, помолился по памяти и уснул, положив книгу под подушку. В первый год из трех, отделяющих ту ночь от нынешней больничной койки, Павел читал только Библию: сначала Новый Завет, потом Ветхий, затем вновь Четвероевангелие. И копил деньги на двенадцатитомные «Жития святых».

Внешне жизнь его изменилась мало: он по-прежнему хромал, рассудив, что внезапное прямохождение было бы подозрительно; по-прежнему просил милостыню на кладбище возле собора, иногда отчебучивая что-нибудь эдакое для поддержания репутации; по-прежнему отдавал деньги, которые ему выплачивало государство, Марье Петровне, и она всё так же вела хозяйство: покупала что надо и прибирала в его комнате.

Курить Павел бросил, а зимой для сугреву пил чай из термоса – очень даже удобно. Стоя с протянутой рукой, он молился о каждом проходящем; со временем он научился отличать прихожан от «захожан» и о «захожанах» молился усерднее. С последним ударом благовеста он шел на службу и после нее отправлялся домой, попутно разбрасывая в нищенские плошки утреннее подаяние. Заплатанные коллеги дружно решили, что теперь-то он точно сбрендил.

Раз в месяц в одном из отдаленных городских храмов Павел исповедовался молодому священнику отцу Димитрию и причащался святых Христовых Таин.

Откладывая малую часть нахристардствованных денег, Павел к концу первого года скопил достаточно, чтобы купить на книжном рынке облюбованный двенадцатитомник – «Жития святых» святителя Димитрия Ростовского, репринтное издание. В январе следующего года он принялся за январский том, а в декабре дочитал декабрьский.

Встречаясь с житиями юродивых, Павел радовался, читал и перечитывал, сравнивал со своей жизнью и от жития к житию всё более и более задумывался. «Они спали под открытым небом, поношения и побои принимали, обличали нечестивых, чудеса творили, им Христос и Богородица являлись, а я что?..»

Когда Павел читал житие юродивой Исидоры, инокини Тавеннийского женского монастыря, светило майское солнце, орали коты и целовались влюбленные, а тела женщин, ходивших под окнами читаря, всё более и более обнажались. «Иногда Исидора притворялась как бы бесноватой, дабы утаить пред окружающими ее сестрами свои добродетели». На голове она носила тряпку вместо куколя, по этой тряпке ее и узнал старец Питирим, пришедший из Пор-

фиритской пустыни, чтобы поклониться великой праведнице. Еще Исидора пила воду, оставшуюся после мытья посуды, и Павла затошнило, когда он читал об этом, и он подумал в сердцах: «Если, чтобы войти в Царствие Небесное, необходимо такое питье... Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий...» Светило майское солнце.

В январе следующего года, за год до болезни, Павлу стало нечего читать, и он купил учебник по истории России XX века. Кое-что он, правда, уже узнал из автобусных разговоров (троллейбусом он больше не ездил), и узнанное казалось настолько странным, что невольно думалось: «Ну ладно, я-то Христа ради юродствую, а они из-за чего?..» По вечноработающему кухонному радио вместо вестей с полей и концертов по заявкам передавали новость что, и жить в этой странной стране, весьма отличной от СССР времен Андропова, было непривычно и неудобно, как неудобно смотреть даже незамысловатый фильм с середины.

А первого января Павел услышал, что полумертвый Ельцин ушел в отставку и вместо него теперь будет воинственный Путин. Это известие взволновало всех гораздо больше, чем новогодняя пьянка, и Христа ради юродивый решительно отправился на книжный рынок, чтобы купить свою первую светскую книгу.

– ... А Бог разве поможет?.. – риторически заключил Михаил Колобов, сказавший перед тем, что вера в Бога – это что-то вроде самовнушения и что надеяться надо только на себя.

– Поможет, – прошептал Павел Слегин, вспоминая, как три года назад...

– Ты что шепчешь, а? Плохо тебе? – скрипуче поинтересовался старичок Иванов, приподымаясь на локте, и кровать его скрипнула тем же голосом.

– Нормально. Спаси Бог.

– А меня еще священники удивляют, – продолжалась беседа у противоположной стены; клинобородый Саша Карпов обращался вроде бы к Колобову, но внимательным оком поглядывал на Слегина: ему хотелось растормошить этого странного Павла, втянуть в разговор, спор, но только бы не было этого высокомерного молчания... – Удивляют меня священники. Простые люди, к примеру, пришли, помолились, ушли, им вроде как полегче стало. А священникам приходится всю жизнь молиться, и ведь бывают среди них молодые здоровые мужики. Неужели ж они так веруют, что им в бабьем платье ходить не стыдно?..

– Что ж это ты, Саша, на священников... – укоризненно молвил Коля Иванов и тоже глянул на соседнюю койку, словно хотел добавить: «При нем».

Павел молчал.

– Да у попов просто работа такая. Мы – у станка, а они – с кадилом. И получают побольше нашего, – откликнулся Михаил. – Я тут историю про одного попа знаю – обхохочешься.

– Не надо, – досадливо оборвал Карпов.

– Не надо? – удивился Колобов.

– Не надо, – подтвердил Иванов.

Слегин перевернулся на бок, лицом к окну, и не к окну даже, а к тумбочке – совсем не видно лица. Но, перевернувшись, закашлялся, сел, харкнул в баночку кровью, утер слезы. От сильного кашля иногда идут слезы.

«Сегодня среда, – подумал Павел среди внезапного значительного молчания. – В четверг придет отец Димитрий, причащусь. Завтра уже, скоро...»

И он улыбнулся, как улыбается младенец, тянущий к заплаканному лицу любимую игрушку.

– Павел, ты сиди побольше, ходить пробуй, – посоветовал Саша Карпов извиняющимся тоном. – А то, как говорится, в ВЧК могут вызвать.

– Мне врач говорила. Спаси Бог. До обеда посижу на стуле. Он со спинкой. Спаси Бог.

\*\*\*

За обедом Слегин пошел сам. Он уже второй день ходил в столовую – да, именно так, прошлым утром он впервые посетил это заведение, оно было совсем рядом, но пока стоял в очереди к раздаточному окну, закружилась голова и пришлось привалиться к стенке. Нынешним утром всё было слава Богу, а как же – крепнем, выздоравливаем, скоро и в процедурную пойдем; да, надо сегодня же на вечерние уколы сходить. Ну, вот и столовая, и очередь небольшая – слава Богу.

Павел пристроился к короткохвостой очереди, и вскоре он уже протягивал тарелку разгорченной девушке с половником, как тянул когда-то руку за милостыней. Пока девушка наливала пустоватые щи и оделяла хлебом, Слегин почти рефлекторно молился о ней, как молился, стоя на околочерковном кладбище с протянутой рукой, обо всех проходящих.

– Дяденька, вы сядьте за столик: столики свободные, – весело напутствовала девушка с половником.

– Спаси Бог, так и сделаю.

– Следующий.

Столиков было десять, половина из них пустовали, и Слегин, прошептав «Отче наш» и перекрестившись, сел в дальнем углу. Он принялся старательно хлебать щи, приговаривая мысленно: «Надо есть. Надо есть. Надо есть». И вдруг поперхнулся, сдержанно закашлялся, замолк и вновь посмотрел на полную женщину в цветастом халате, и смотрел неотрывно, пока та не вышла из столовой с порцией второго в руках.

«Неужели она?.. – смятенно думал больной. – Похожа, очень похожа... Тоже здесь и тоже с воспалением – привел же Господь... Как же тебя зовут, матушка? Дай Бог памяти... Раба

Божия... Раба Божия... А может, и не раба Божия: крестика на ней тогда не было, точно, не было... Господи, дай памяти! Ленка, точно! Елена, значит... Царица Елена обрела крест Господень, Воздвижение – двенадцатый праздник... Елена. Спаси, Господи, и помилуй сию Елену и пошли ей душевного и телесного здравия!»

– Мужчина! – услышал он недовольный женский голос. – Вы будете второе брать?

– Буду! – спохватился Павел, мгновенно дохлебал щи, прошел через пустую столовую к раздаточному окошку и, протягивая тарелку, сказал смущенно: – Простите Христа ради – задумался.

С картофельным пюре и квашеной капустой Слегин разделался уже в палате. Помыв тарелку, он вскипятил в кружке воду и заварил чай: больничный, как и предупреждал незабвенный Женя Гаврилов, был сущими помоями. Вода возле крупных чайных листиков всё более и более бурела, а сами листики набухали и разворачивались, и наблюдать за этими метаморфозами было весьма приятно. Павел успел успокоиться после неожиданности, произошедшей в столовой, и решил, что если Елена увидит его и захочет поговорить, то они поговорят, а сам он ни искать встречи, ни избегать ее не будет. Однако с того самого дня он предпочитал брать еду в палату.

Слегин пил крупнолистовой чай без сахара и припоминал грехи для завтрашней исповеди, старичок Иванов спал с открытым ртом, а Карпов и Колобов снова разговаривали о политике. Бородатый Саша, чем-то похожий и на Ленина, и на Солженицына, неторопливо констатировал, что другие страны уже не уважают нас, что соседи разбежались из Союза по своим углам, что у власти – воры, что нет никаких идеалов, что по телевизору – сплошная порнография... Миша, пятидесятилетний толстячок с лицом шкодливого, но добродушного мальчишки, отвечал, что раньше он по два часа стоял в очереди за пивом, и было только «Жигулевское», а теперь в каждом киоске...

– А цены?! – тихогласо возмутился Карпов и для сравнения привел тогдашние и теперешние цены на бензин, попутно заметив, что пива или чего покрепче он уже больше тридцати лет не пил.

- Ничего себе! – изумился Колобов. – Как же ты так, дядь Саш?
- А вот так. Ехал как-то утром: солнышко светит, трасса ровнехонькая, впереди Ленинград – благодать Божия, одним словом. А я улыбнуться даже не могу: башка трещит с похмелья. Ну, тогда я и дал зарок, что всё – ни грамма больше.
- А кому дал зарок? – заинтересованно спросил Павел.
- Просто дал зарок. Себе, наверное. По-моему, если мужик что сказал, то должен сделать – иначе он не мужик.
- Здорово! – восхищенно воскликнул Михаил, помолчал и, ехидно ухмыльнувшись, спросил: – И так-таки ни разу ни грамма?
- Да.
- А женат ты уже был?
- Нет еще, я года через три после того женился.
- И неужели ж ты, дядь Саш, на собственной свадьбе ни грамма не выпил?! – с торжественной риторичностью спросил испытующий.
- Ни грамма, – ответил Саша и с усмешкой добавил: – Нам, даже когда бокалы били, вместо шампанского лимонад «Буратино» наливали.
- «Буратино»!.. – и Колобов громогласно расхохотался, скрипуче корчась на кровати и колотя ладонью по ляжке; Павел тоже засмеялся.
- Что?.. – вскинулся старичок Иванов и, когда взгляд его прояснился, загнул: – Совети у вас нету – поспать не дадут...
- Прости, дядь Коль, – извинился толстячок, просмеиваясь. – Ты знаешь, какой среди нас трезвенник есть?
- Знаю, знаю... Он у нас святой. Он на свадьбе только лимонад... Слышали...
- До тихого часа, между прочим, еще двадцать минут, – заметил Карпов.
- Слышали... – повторил старичок, закрыл глаза и стойко перенес новую волну хохота.
- А как там, в Ленинграде? – спросил чуть позже Колобов с тем чистым любопытством, с каким спрашивают внуки, сидящие на дедовых коленях.
- Очень красиво. Сейчас он уже, правда, Петербург – в Петербурге я не был. Но в Ленинграде самое красивое место – это Эрмитаж. Я всегда по нескольку часов выкраивал, чтобы сходить. Есть там один такой зал... ну-ка... да, как войдешь – налево, на второй этаж – и снова налево. Он огромный, весь белый с золотом и с огромными хрустальными люстрами. Там есть такие часы-павлин: огромная золотая клетка, а внутри дерево, трава, грибы, сова и павлин... Всё из золота, и каждый час павлин вертит головой и распускает хвост. А еще из этого зала есть выход в сад, на втором этаже настоящие деревья растут, трава, цветы – всякий сад, чудо света!
- Бывает же такое... – потрясенно пробормотал Михаил. – А где ты еще был, дядь Саш?
- Да весь Союз, почитай, объездил. В Грозный съездить только не получилось, жалко. А сейчас там война.
- У меня брат недавно из Чечни вернулся, денег много привез.
- Сколько?
- Колобов сказал.
- Прилично.
- Он контрактник, им платят. Он сразу машину купил, «Волгу» новую, погулял хорошо. Еще он две гранаты привез: одну у мамы в деревне взорвал – рыбу глушил, а другую бережет на всякий случай.
- Опять на войну не собирается?
- Хватит, навоевался.
- Молодец.
- Павел заинтересованно слушал.

– А вот я когда в армии служил, мне денег не платили. Но до чего здорово там было! – произнес Колобов с внезапным воодушевлением, и приятственные воспоминания прозрачно засквозили в его взгляде. – Я на китайской границе служил, на заставе. Эх, там и природа! И охота, и рыбалка, и грибы с ягодами. Здесь ты с удочкой, с бредешком – если ведро наловишь, то это уж очень хорошо. А там речка шириной метра два и снастей никаких не было, а рыбы – ужас. Мы прямо брали бочку и сетку-рабицу, и этой сеткой просто черпали рыбу и черпали. За час полную бочку начерпывали. Зубров били, медведей были. У медведей лапы отрубали, а остальное – волкам, из когтей кулоны делали.

– А шкуры что же? – поинтересовался Карпов и, заранее ужасаясь чужой бесхозяйственности, спросил: – Неужто не снимали?

– Не снимали, дядь Саш. Мы их выделывать не умели. Беличьи шкурки, правда, брали на стельки для сапог, но они быстро трескались, вонять начинали – дня на три хватало, а потом выбрасывали. Зато как этих белок стреляли – обхохочешься. Солдаты вместо собак были: собаки лают, как белку увидят, а мы: «Товарищ старший лейтенант, белка!» Он ее из мелкашки – бац: «Подбирай!» – Михаил тихо рассмеялся.

– Как-то не похоже на армию, – недоверчиво заметил Слегин.

– Просто на границе, поэтому и вольности такие. Нас вместе с офицерами и двадцати человек не насчитаешь, начальство далеко, так что мы летом по полдня в одних майках ходили. Да это еще что – рядом метеостанция была, и там метеоролог жил, бобыль. А патроны от автоматов подходили к его карабину – вот мы и меняли патроны на бражку. Хорошо!.. А как я там ел – я так нигде не ел. И кормили, и охота-рыбалка, и еще на собак отпускалось по 5 кг сала в день – ну, сала они, конечно, не видели, им и так хватало...

Павел заснул с улыбкой, и последним, что он слышал наяву, было: «Местные там чай странно пьют: мы – с сахаром, а они – с солью».

– Действительно, странно: они – с солью, мы – с сахаром, а ты, Павел, – безо всего, – произнес потусторонний знакомый.

– Чего тебе? – спросил человек, боеготовно сконцентрировавшись и попутно творя Иисусову молитву.

– Да ничего особенного, пришел засвидетельствовать почтение, – рассеяно отвечивал бес.

– А еще что?

– А больше ничего. Елену ты уже видел сегодня – почему бы и мне не заглянуть... Для полноты впечатления.

– Но тебе же, наверно, побеседовать хочется... Раз уж заглянул.

– Вовсе нет. Тебе хотелось бы беседовать с субъектом, который истошно орет и размахивает дубиной? Вот и я с молящимся человеком говорить не расположен. До встречи, приятель.

Учтиво ослабившись и откланявшись, искуситель покинул сон Павла Слегина.

\*\*\*

– Колобов, четырехсотая палата, спуститесь вниз, к вам пришли. Колобов, четырехсотая, спуститесь вниз. Колобов, четырехсотая.

Все динамики на этаже пронзительно щелкнули и смолкли. В первые дни Павел вздрагивал, слыша подобные громогласные призывы: ему представлялось, что он в троллейбусе и что незримый водитель всё объявляет и объявляет очередные остановки... Потом эта страшноватая ассоциация сменилась более нейтральной, и больной уже не вздрагивал.

Михаил поспешно сложил в сумку пустые банки, надел спортивную куртку и вышел из палаты. У самых дверей он разминулся с человеком, одетым в пушистый, можно даже сказать курчавый, шерстяной свитер, синие джинсы и тапочки. Поверх серого свитера была повязана

кучая белая накидка, сбившаяся назад и подрагивающая при ходьбе наподобие сломанных крыльев.

– Доброго здоровья! – сказал человек, переступая порог палаты, и направился к кровати Слегина.

Недавно проснувшись и еще не вполне освоившись в грубой реальности, тот с ужасом наблюдал приближение гостя. Он отчетливо помнил, как неделю назад сидел в убийственно-удобном психоаналитическом кресле, а к нему подходили и подходили одинаковые бесы в курчавых серых свитерах, синих джинсах и тапочках... Но ведь он уже проснулся – неужели опять?!

– Здравствуй, Павел! Как говорится, пришел засвидетельствовать почтение, – сказал неожиданный гость.

Больной хотел крикнуть – и не мог, хотел перекреститься – но рука не слушалась, он лишь смотрел на гостя, а гость с видимым недоумением глядел на Павла и поправлял накидку. Белая накидка округло улеглась на плечах посетителя, став похожей на священническую фелонь, и Слегин внезапно улыбнулся.

– Здравствуйте, отец Димитрий! – радостно проговорил он. – А я вас завтра ждал.

– Завтра само собой, а сегодня просто в гости зашел. Извините, Павел, но мне показалось, что я чем-то напугал вас...

– Так и есть, – весело подтвердил тот. – Садитесь, пожалуйста, на стул – я вам сейчас всё расскажу.

– Как на вокзале, – заметил священник, усаживаясь и прислушиваясь.

– У меня тоже с вокзалом ассоциация, – согласился больной. – Скорый поезд такой-то прибывает на такой-то путь... А вы меня и вправду напугали.

И Павел негромко и обстоятельно рассказал о домогательствах беса. Отец Димитрий, придвинув стул вплотную к сидящему на постели, внимательно слушал его рассказ; старичок Иванов с соседней койки тоже пытался вслушиваться, но вскоре бросил ввиду тихости и непонятности повествования.

– Надо же... – задумчиво пробормотал батюшка и продолжил тихим исповедальным голосом: – Ко мне ведь тоже приставлен один поганец из их ведомства, во сне иногда является. Говорливый, нагловатый, в костюмчике – он мне представился даже, Иваном Федоровичем его зовут.

– Как Ивана из «Братьев Карамазовых»?

– С умным человеком и поговорить приятно, – усмехнулся отец Димитрий. – Давно перечитывали?

– В прошлом месяце закончил. Я когда диалог брата Ивана с чертом читал, о своем знакомом вспоминал.

– А ваш знакомый и сам не прочь о себе напомнить...

– Отец Димитрий, неужели же всем людям бесы являются? Для бесед... Во сне, а то и наяву... А?

– Наверное, только большим грешникам и большим праведникам. Я отношусь к первой категории, а к какой вы – не знаю.

– Я же вам исповедовался и историю свою рассказывал. Какой из меня праведник?... А на себя вы, по-моему, наговариваете.

– Павел, ничегошеньки вы обо мне не знаете, – молвил иерей с мягкой грустью. – Это даже как-то нечестно. Вы про себя рассказывали, а я про себя – нет. Идеализировать священников – это вообще большая ошибка. Идеализация – она хуже клеветы: клевету можно опровергнуть, а в идеале можно только разочароваться. Один Бог без греха. А свою историю я вам сейчас расскажу. Знаете ли... – отец Димитрий замаялся и слегка покраснел. – Мне кажется,

что после моего рассказа мы сможем перейти на «ты». Всё-таки ровесники, три года знакомы, а грешен я не меньше вашего.

Батюшка опасливо огляделся и заговорил еще тише, так что даже Павлу было едва слышно. Впрочем, начала повествования Слегин не смог воспринять, радостно оглоушенный возможностью перехода на «ты».

– Надо же! – усмехнулся отец Димитрий. – Мне уже почти не хочется рассказывать. Чисто интеллигентская черта – не разрушать благоприятного представления о себе, ни в чем не каяться, а тихо-мирно рефлексировать, как сказано в одном мудром фильме, «сделать гадость, а потом долго-долго мучиться»... Однако попробуем преодолеть. Дело в том, Павел...

Павел вздрогнул, очнувшись от приятных раздумий.

– ... дело в том, что я всего лишь четыре года как священник, всего лишь четыре года. Восемь лет назад архиепископ благословил меня на левый клирос и на заочное обучение в семинарии. На третьем курсе был рукоположен в диаконы, на пятом – в иереи, заканчивал семинарию уже священником. А до тех восьми лет относительной воцерковленности я, любезный Павел, был в секте.

– В секте?!

– Именно. Причем не в какой-нибудь протестантской, где хотя бы иллюзия христианства присутствует, а во вполне оккультной секте. Знаете ли, в те годы была мода на эзотерику, причем это, в отличие от дней сегодняшних, была вполне элитарная мода. Студенту-гуманарию, каким я был тогда, любое «там что-то есть» казалось вполне революционным и безусловно положительным заявлением. И вдруг – приглашение в тайное общество, с инициациями, с ритуалами, с бесконечными ступенями посвящения... Это вам не Церковь, где одни глупые бабки коленки протирают, а священники – сплошь стукачи или переодетые гэбэшники! Это синтез науки и тайной мудрости Востока! Это религия одушевленного Космоса! Вот такая вот бяка была у меня в голове, Павел.

Сейчас все эти оккультные секточки всего лишь сфера бизнеса: вводная лекция – бесплатно, первая ступенька – столько-то, вторая – столько-то, третья – и т.д., и т.п. Каждая ступенька дает некую сумму оккультных знаний, умений и навыков, увеличивает возможности посвященного. Очень похоже на сетевой маркетинг с рангами дистрибьюторов.

Раньше было не так: те же ступеньки, но не за деньги, а по заслугам. Я был неглуп, умел убеждать, не уклонялся от общественной работы и, соответственно, довольно быстро шагал по лестнице оккультного познания. «Малых сих» я убеждал в надрелигиозности нашего тайного общества, в неприменимости к нему, скажем, христианской терминологии, однако чем выше я карабкался, тем больше убеждался в обратном. Безличностные космические силы и энергетические потоки внезапно оказывались очень даже личностными и требовали жертвоприношений. А Великий Астральный Свет носил, как выяснилось, более короткое имя – Люцифер. Отношение к Православию на более высоких ступенях тоже менялось: из сборища дураков и гэбэшников Церковь превращалась в реальную силу, абсолютно враждебную нашей секте. Я решил, что врага следует знать в лицо, принялся изучать Православие и в результате стал православным священником.

Отец Димитрий невесело улыбнулся, послушал молчание Павла и продолжил:

– Да, Павел. Я великий грешник. Две трети из тех, кого духовно соблазнил, я смог перетаскать в Церковь. А одну треть – не смог. И этой одной трети, если по справедливости, вполне достаточно для моего осуждения. Однако я надеюсь на милосердие Божие.

Священник вновь замолчал, а Павел, чрезвычайно взволнованный, пытался подобрать нужные слова – и не получалось.

– Может быть, вы и не зря меня за беса приняли, – проговорил батюшка, неловко усмехнувшись. – Хотя джинсы – это случайность: матушка зимние штаны замочила, говорит – грязные...

– Брат мой! – воскликнул Павел, подобрав-таки слова, и трое остальных обитателей палаты, в том числе и вернувшийся Колобов, посмотрели на Слегина и его гостя.

– Братство во Христе гораздо лучше, чем братство во грехе, – пробормотал отец Димитрий, разглядывая узор на линолеуме. – И лучше бы нам бесы не являлись, хоть это и роднит нас. – Он поднял стыдливо опущенную голову, посмотрел в глаза собеседника и улыбнулся. – Но братьям сподручнее говорить друг другу «ты» – тебе так не кажется?

– Кажется, – уверенно ответил Павел и робко спросил: – Как ты пришел к Богу? Евангелие? Богословская литература? Молитвенный опыт?

– Сначала – Достоевский. Потом – Евангелие и молитвенный опыт. А богословская литература – уже в семинарские годы.

– Достоевский... – удивленно повторил Павел. – А я думал, что это тупиковый путь.

– В смысле?

– Слишком много грязи и страстей. А о Боге почти ничего – только мельком, краем глаза или на горизонте. А в грязь и страсти попросту суют лицом.

– Вот именно! Ты слышал про апофатическое богословие?

– Богопознание через познание того, что не является Богом.

– Не всякий мой прихожанин столь сведущ.

– В прошлом году я много читал.

– Похвально. Однако вернемся к тому, что Федор Михайлович сунул тебя лицом в страсти и грязь. Самая естественная реакция в данном случае какая? Встать и отряхнуться. Движение прочь от хорошо описанной грязи – это движение в сторону неопишуемого Бога. А система координат в произведениях Достоевского истинно православная, так что рефлекторное движение читателя предполагается не в сторону какой-нибудь пустой нирваны, а в сторону всепрощающего Христа.

Священник говорил уверенным, почти лекционным тоном, и Павлу вновь вспомнилось отличническое доказательство теоремы и стук мелка о доску и подумалось, что две трети подопечных отца Димитрия, которых он вырвал из секты и привел в Православие, – это, вероятно, довольно большое количество людей.

– Всепрощающего... – пробормотал Слегин. – А разве Он всех прощает? Разве все обречены на спасение?

– Срезал, – похвалил батюшка. – Милосердие Бога безгранично, мы с тобой это на себе испытали. Однако простить и спасти Он может только того, кто хочет быть прощенным и спасенным и выполняет указания Врача. Словом, если хочешь бессмертия – принимай лекарство от смерти, то есть причащайся, а перед причастием – кайся в грехах. Это я не тебе, Павел, говорю – это я общо. А кто не желает принимать лекарства, тот умрет, и Врач тут совсем не виноват.

– Кажется, диакон Андрей Кураев такое развернутое сравнение приводил.

– Да и не он один, – заметил отец Димитрий и процитировал: – «Отче Святыи, Врачу душ и телес наших...» Забыл, что ли?

– Не забыл, – ответил Павел и улыбнулся.

– Ну, вот и хорошо. Раз не забыл – скоро поправишься. Я завтра часов в восемь приду. Будь готов.

– Всегда готов.

Посмеялись и помолчали.

– А ты сегодня намного лучше выглядишь, чем в прошлый раз, – похвалил священник. – Тогда совсем доходягой был.

– Лучше. Со вчерашнего дня уже сам в столовую хожу.

– Молодец.

– А еще меня вчера на флюорографию возили, в коляске. Флюорографию на первом этаже делают, я бы не дошел.

– Приятно, когда тебя возят?

– Скорее стыдно.

– Очень хорошо, Павел. А результаты уже известны?

– Врач говорит, что организм отреагировал на лекарства и есть улучшения.

– Ну, вот и славно... Павел, мне идти пора. Завтра увидимся.

Священник встал со стула, а больной – с кровати; священник протянул руку, а больной пожал ее.

– До завтра, Павел.

– До завтра, отец Димитрий.

– Это был твой брат? – спросил у Слегина Колобов, когда посетитель ушел.

– По плоти – нет, по вере – да, по духу – скорее отец, нежели брат.

– Не понял, – простодушно констатировал Михаил.

– Завтра утром поймешь, – улыбчиво пояснил Павел.

\*\*\*

Однако до утра еще нужно было дожить: утру предшествовали вечер и ночь. Вечером Павел самостоятельно сходил на уколы, помолился в пальмовой молельне, глядя куда-то сквозь оконное стекло и заснеженный пустырь, и отправился спать.

В ночном сне ему приснилось позднее зимнее утро, черно-белое кладбище и цветные небо, солнце, купол. Слегин шел в церковь к большому празднику и по собственному умонастроению вдруг понял, что он не Павел, а дядя Паша, и ему стало грустно, как бывает грустно душе, возвращающейся в тело после клинической смерти.

Дядя Паша рыкнул, прогоняя странную грусть и пугая прохожих, после чего по-крабьи заковылял далее. Глаза его (прямосмотрящий и скошенный к носу) глядели вниз, туда, где ступали его ноги (здоровая и покалеченная). Вверх смотреть было незачем: он и так знал, что в воздухе кишмя кишат бесы и оттого воздух похож на кипящую воду с бесами-чайнками.

Обычно дядя Паша в церковь не ходил: не дурак же он в конце концов – какие в аду церкви?! Однако на Крещение он регулярно заглядывал на церковный двор посмотреть, как люди давят друг друга, ругаются и чуть ли не дерутся из-за святой воды, – и хохотал до изнеможения. Нынче церковный двор вновь был забит людьми с пустыми бидонами, трехлитровыми банками и пластиковыми бутылками, и это было очень смешно. Но на сей раз какое-то чувство, столь же непонятное, как и недавняя грусть, втокнуло дядю Пашу в храм.

Народу было не очень-то много: большинство стояло снаружи в ожидании водосвятного молебна. Дядя Паша уже довольно давно выяснил, что на клиросах поют матом, а прихожане ничего не замечают, и это было уморительно, но слушать всё-таки не хотелось. Теперь же в храме совершалось что-то необычное: через открытые Царские врата было видно, что в алтаре какого-то мужчину с испуганным и откуда-то знакомым лицом, бородача, одетого в белое, водят вокруг престола, ставят на колени, подводят к архиерею... Наконец иерарх возгласил:

– Аксиос!

– Аксиос, аксиос, аксиос! – весело подхватил клир.

«Иностранное ругательство», – решил дядя Паша и подпел по-русски:

– Накося, накося, выкуси!

На него возмущенно посмотрели, и он, посмеиваясь, пошел из храма, а с клироса неслошь вдогонку:

– Достоин! Достоин!

– Достоин... – повторил дядя Паша и тревожно подумал: «Откуда же я его знаю?..»

Подумав так, человек раздвоился и в упор посмотрел на свое щетинистое лицо со скошенным к носу глазом. «Этот глаз надо запомнить», – понял Слегин.

«Глаз!» – мысленно воскликнул Павел, проснувшись.

Он посмотрел на часы, поспешно оделся и отправился в пальмовую молельню. Там он прочитал утренние молитвы и молитвы перед причащением, а канонов читать не стал, не надеясь на свою память. До прихода отца Димитрия он успел вернуться. На этот раз священник пришел в широкорукавном подряснике и скуфейке, с епитрахилью, крестом и дароносицей на груди, и ошеломленный Михаил Колобов понял, почему вчерашний посетитель Слегина, не являясь братом по плоти, может быть братом по вере и духовным отцом.

После причащения Павел спросил:

– Отец Димитрий, а вас (тебя то есть – никак не привыкну)... Тебя, случаем, не в праздник Крещения рукополагали? Не в соборе?

– Да, – удивленно ответил батюшка. – Завтра ровно четыре года будет.

– Я, оказывается, видел... тебя тогда. У тебя довольно испуганное лицо было.

– Как это ты запомнил, интересно?

– Во сне сегодня увидел.

– Надо же... А там, когда диакон тебя водит то вокруг престола, то архиерею руку целовать, вообще ничего не соображаешь. Испуганное лицо... – Священник рассмеялся и продолжил: – Да, четыре года. А сегодня вечером я буду воду в проруби святить, многие моржевать придут. Вообще-то, от крещенской воды еще никто не заболел; может, и я окупусь... Да, праздник великий! Ну, Павел, поздравляю тебя с принятием святых Христовых Таин, с наступающим праздником тоже поздравляю. А я пойду. Выздоровливай.

Павел поднялся с постели и взял благословение, после чего они с отцом Димитрием троекратно расцеловались.

– В следующий четверг приду причащать; может, и среди недели забегу. Ну, до встречи! – попрощался батюшка.

– До встречи! – ответил Слегин.

– До свидания! – дружно сказали остальные больные.

– До свидания! – ответил священник, улыбнулся и вышел.

Через минуту в палату влетела миловидная сестричка по имени Света, та самая, которую очень хвалил Женя Гаврилов, – впрочем, Павел лежал уже одиннадцатый день и имел не один случай убедиться в правоте Жени. Влетев в палату, Света на мгновение застыла, как девочка, играющая в прятки и достигшая наконец убежища; вся ее ладная фигурка и в особенности курносое личико были пропитаны напряженной растерянностью.

– Доброе утро, – сказала она, очнувшись. – Я вам градусники принесла. Сейчас шла сюда, а мне навстречу – поп! Настоящий! В рясе, с крестом! У меня аж мурашки по коже: я из-за угла – и он из-за угла...

– Это отец Димитрий, он к Павлу приходил, – готовно сообщил Колобов.

– Да?.. – Девушка заинтересованно посмотрела на Павла. – А вам, Слегин, с сегодняшнего дня дышать назначили. До поста дойти сможете?

– Смогу. А в каком смысле дышать?

– Пойдемте, – сказала Света с лакомой улыбкой. – Я вам всё объясню.

– Когда моя дочка так улыбается, я ее убить готов, – проговорил Михаил после исчезновения медсестры и больного.

– Она дочка тебе? – уточнил Иванов.

– Нет, конечно. Просто улыбка одинаковая.

А тем временем Слегин и белохалатная Светлана медленно шли по коридору, и Павел, слегка задыхаясь, спрашивал:

– Простите, сестра... но разве вы раньше... не видели здесь... священников?

– Я здесь недавно работаю, – ответила та, подавляя ножную прыть. – Уже скоро...

Скоро они и впрямь подошли к медпосту – трехстенному закутку с деревянным ограждением, «похожим на стойку бара», – подумал бы кто-то. «Высотой как поручень возле троллейбусного окна», – отметил Павел. Часть ограждения была отделена и посажена на петли; ее-то Света и толкнула, пригласив больного войти. Сразу за ограждением располагался стол с телефоном, вдоль боковых стен стояли шкаф с медикаментами и диван, возле пухлого диванного валика притулился рахитичный столик на колесиках, увенчанный замысловатым аппаратом.

– Присаживайтесь вот сюда, ближе к краю, – предложила медсестра, легко обезглавливая ампулы, вытягивая из них лекарство и впрыскивая его в какой-то полупрозрачный пластмассовый стаканчик. – Сейчас будем дышать, – пояснила она, присоединяя стаканчик к шлангу аппарата и закрывая сверху клювообразной насадкой. – Вот вам пока градусник. Дышать будете десять минут, заодно и температуру смеряете. – Она щелкнула переключателем, аппарат заурчал, а жидкость внутри стаканчика забурлила. – Мундштук берете в рот, вдыхаете только ртом. Когда вдыхаете, нажимаете вот на эту кнопку, выдыхаете через нос. Понятно?

Павел кивнул, нажал кнопку под клювом мундштука, вдохнул влажный лекарственный воздух, отпустил кнопку, выдохнул через нос, нажал кнопку... В палате он сплюнул в раковину, прополоскал рот и почистил зубы, а потом позвали завтракать.

В палате № 0 завтракали только двое – Слегин и Колобов. Карпов тоже взял завтрак, но лишь тоскливо глядел на стынущую молочную вермишель с пенками: анализ крови нужно было сдавать натощак, а медсестра-кровопускательница задерживалась. Иванов и вовсе не ходил на завтрак, поскольку успел хорошенечко наесться домашними подношениями, и теперь спал с полуоткрытым ртом.

Доев, Михаил очень медленно (чтобы не скрипнула) поднялся с постели, выудил из тарелки длиннущую (вероятно, специально отложенную) вермишелину и со шкодливым выражением на лице пошел на цыпочках к почивающему старичку Иванову. Павел и Саша заинтересованно наблюдали, как озорник, достигнув цели, принялся водить влажной вермишелиной по ладони спящего, а ладонь судорожно вздрагивала, взмывала в воздух, пытаясь избавиться от навязчивой мухи... Наконец Иванов проснулся, оценил ситуацию и, повернувшись к соседней кровати, озадаченно сказал:

– Павел, вот ты – умный. Вот ты объясни мне – что этот шельмец делает?

– Озорничает, – ответил Слегин и, не в силах сдержаться, расхохотался.

– Дядь Коль, обедать уж пора, а ты спишь! – сообщил шалун.

– Да иди ты отсель! – сердито ответил разбуженный, глянул на часы и добавил: – Ой, ну и дурак!

– Скажи спасибо, что он тебе «велосипед» не сделал, как в армии, – проговорил сквозь смех Саша.

– Спасибо.

– Карпов, кровь сдавать! – сказал кто-то, не заходя в палату.

– Наконец-то, – обрадовался тот и поспешно вышел.

До его возвращения Слегин доел вермишель и узнал, что «велосипедом» называется довольно жестокая шутка: спящему вставляют между пальцами ног спички, поджигают и смотрят.

– Тебя, похоже, выписывать собираются, – предположил Колобов, взглянув на вернувшегося однопалатника: одна рука Карпова была согнута в локте, а большой и безымянный пальцы другой руки сжимали ватку. – И из вены, и из пальца. И ты ведь утром еще мочу сдавал?

– Сдавал, – гордо подтвердил Саша. – А к десяти на флюорографию пойду.

– Точно – выписывают.

– Смотря какие результаты будут. Ты, Миша, не говори пока ничего – вдруг сглазишь. В любом случае будем лежать до победы.

– Ага, – мрачно проговорил Иванов. – До 9 мая.

Весело было этим утром в палате.

Во время обхода Мария Викторовна сказала, что Павел выглядит намного лучше и спросила, продолжается ли кровохарканье.

– Вчера было раза три, сгустками, а сегодня – нет, – ответил Слегин.

– Хрипы не прослушиваются, – комментировала врач. – Это славно. Дышать ходили?

– Да. На уколы я со вчерашнего вечера тоже сам хожу.

– Замечательно. Набирайтесь сил, не залёживайтесь. Со следующей недели вам уже можно будет на дыхательную гимнастику ходить.

– Лет двадцать гимнастикой не занимался.

– А зря.

Иванову Мария Викторовна ничего не сказала, а Колобову посулила бронхоскопию назавтра.

– А что это за зверь? – полюбопытствовал Михаил.

– Это такое обследование. Через нос вам введут в легкое трубочку с оптической системой и посмотрят, что у вас там интересного. По ощущениям чуть-чуть неприятнее, чем гастроскопия, но в целом терпимо.

– Ну ни хрена себе! – взревел Михаил, заметно побледнев.

– Колобов, не выражайтесь.

Старичок Коля хихикнул, а доктор перешла к Карпову.

– Вас, Карпов, можно поздравить. Завтра на выписку.

– А результаты анализов? – радостно спросил Саша.

– Результаты должны быть хорошими. Впрочем, после обеда принесут снимок, и я вам скажу точно.

– Тебя на выписку, а меня – на бронхоскопию, – жалобно проныл Колобов, когда Мария Викторовна удалилась. – Тебе хоть делали эту гадость?

– Нет. Сначала назначили, а потом отменили... У меня ведь сердце.

– И что?

– Могло не выдержать. Там, говорят, когда ее делают, шприц специальный держат наготове. Чтобы, если сердце остановится...

– Ну ни хрена себе! – взвыл Михаил, схватил сигареты и выскочил из палаты.

Павел сотворил Иисусову молитву и перекрестился, прибавив мысленно: «Господи, избави мя от бронхоскопии!»

После обеда Мария Викторовна сообщила Карпову, что снимок хороший.

– Слава Тебе, Господи! – воскликнул Саша. – Обрадую теперь баушку.

«Баушка» пришла после тихого часа и, узнав новость, радостно перекрестилась.

– Слава Богу! А я хотела завтра водички тебе принести.

– Вместе за водичкой ходим, вместе. Меня утром выпишут – сразу и пойдём. Тут как раз церковь рядом. Самую большую свечку Богу поставлю! Чтобы уж никогда, никогда так не болеть! Сорок дней лежал! Хорошо ты меня, баушка, мороженым покормила...

– Приятное хотела тебе, дурню, сделать. Кто ж знал, что ты такой нежный?

– Да я не в обиду, я так...

– Так ты, дядь Саш, из-за мороженого здесь? – встрял Михаил.

– Из-за мороженого, – живо откликнулась старушка. – Я, дура, его побаловать хотела, а он только с мороза пришел, не согрелся, а потом ему опять уходить было нужно – опять не согрелся. Так и началось.

Поздним вечером в палату, как всегда, пришла медсестра и сделала старичку Иванову несколько уколов. Несмотря на ликующее настроение, Карпов не сдержался и проворчал:

– Работают, как папа Карло, а получают, как Буратино на мороженое. Это ж надо – за такие деньги в чужие задницы заглядывать! Эх, демократия!..

«Почему как Буратино на мороженое?» – подумал Павел, отходя ко сну. Поразмыслив, догадался. Догадавшись, заснул.

Его разбудило радио.

– Сегодня Русская Православная Церковь отмечает великий двенадесятый праздник – Богоявление, – сообщил диктор с той же деловитостью, с какой рассказывал минуту назад о подрыве российского бронетранспортера чеченскими боевиками. – Другое название этого праздника – Крещение. По преданию, в этот день Иисус Христос крестился в Иордане посредством Иоанна Крестителя. Когда Иисус выходил из воды, разверзлись небеса, и Дух Святой в виде голубя сошел на Него, и был глас с неба, глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так были явлены все три ипостаси Пресвятой Троицы. Вчера вечером и сегодня утром по всей России были отслужены торжественные водосвятные молебны. Освящалась вода в прорубях, и некоторые смельчаки купались там. Сложно сказать, что придавало им смелости – вера или же выпитое спиртное...

– Господи, помилуй нас, грешных! – прошептал Павел и принялся одеваться.

После завтрака медсестра Света принесла обеденную порцию таблеток и поздравила всех, а в особенности Павла («Почему в особенности?» – «Ведь вы же верующий») с праздником. Карпову таблеток уже не полагалось, а Иванову принесли целую горсть.

– Саш, твой теперь, наверное, мне достались, – прокомментировал старичок Коля, на что Саша ответствовал:

– «Пить так пить», – сказал котенок, когда его несли топить... Что-то я волнуюсь, мужики!

– Да ладно тебе, дядь Саш! – раздраженно проговорил Михаил. – Тебе нынче домой идти – не на бронхоскопию.

– Господи! Пусть никогда я больше сюда не попаду! – воскликнул Карпов, глянул по сторонам и широко перекрестился.

– Нервишки... – пробормотал Колобов.

Павел встал с постели, подошел к перекрестившемуся и тихо спросил:

– Саша, а почему ты крестика не носишь?

– Павел, а я, может, и некрещеный. Не знаю даже, считается это или не считается... Ты сядь, пожалуйста, вот сюда, на стул, – я тебе расскажу. В общем, попов тогда было мало, да и крестить в церкви боялись, – короче, меня крестила бабка. Это считается?

– Считается, – с удовольствием объяснил Слегин. – Только в церкви сразу же за таинством крещения совершают таинство миропомазания. А бабка его, естественно, совершить не могла. Миропомазание – это великое таинство. Слышал, наверное, что царей называют помазанниками Божьими. Это из-за того, что при восшествии на престол их второй раз в жизни мажут миром. А первый раз – при крещении, так что сходи в церковь, купи крестик и дополни таинство. В воду тебя уже окунать не будут, а миром помажут.

– Вот как, оказывается, тебя разговорить можно, – усмехнулся Карпов. – А насчет таинства – не знаю, пока. Я ведь в Бога не очень верую. Вот баушка моя – та верует. А мы с ней всю жизнь душа в душу. Я не пью – она и не ругается. Вот я и думать стал: если там всё-таки есть что-то, то мне бы и дальше с ней хотелось, с баушкой. А то ВЧК да ВЧК – страшно.

– Саша, я дам тебе телефон отца Димитрия. Если надумаешь – позвони. Кстати, креститься или дополнить таинство можно и дома. Он придет и всё сделает.

– Спасибо, Павел. Я подумаю. Где-то тут у меня была ручка с бумажкой...

На обходе Мария Викторовна поздравила Карпова и выдала ему анамнез, а Колобову сообщила, что бронхоскопия переносится на понедельник, поскольку не удалось достать талончик. В ответ на эмоциональные возгласы Михаила врач попросила его прекратить истерику и быть мужчиной. На этом обходе был осмотрен еще один больной – новенький, расположившийся на свежестеленной кровати Карпова, то есть на бывшей кровати Карпова, в то время как сам Саша скромненько сидел на легком деревянном стуле с сумкой на спинке, словно и не лежал здесь Саша сорок дней, а лишь заскочил на минутку проведать кое-кого, и уже пора восвояси, под ручку с «баушкой», ждущей за дверью. Перед уходом он услышал занимательное – такое, о чем можно рассказать супруге или приятелю:

– Ну, я и попал! – воскликнул новенький, парень лет двадцати.

– Все мы тут попали... – пробормотал Михаил.

– А у меня свадьба через неделю, – нервно пояснил парень.

– Н-да-а... – протянул Саша Карпов, попрощался со всеми за руку, пожелал скорейшего выздоровления и ушел.

Слегин взял телефонную карточку и тоже вышел. В коридоре он позвонил Марье Петровне и попросил принести крещенской воды и двенадцатый том Достоевского.

– После тихого часа? Хорошо, буду ждать... Там окончание «Братьев Карамазовых» и рассказы. Рассказы я не успел прочитать, так уж вышло... Не надо колбасы, не надо. Лучше уж сыра, если на то пошло... Ну, спаси Бог. До встречи.

Павел повесил трубку, повернулся, чтобы идти в палату, и застыл: в двух шагах от него стояла Елена и умоляюще смотрела снизу вверх. Она стояла на коленях.

– Прости меня, Павел, – сказал женщина.

– Бог простит, – ответил мужчина, опускаясь на колени, так что расстояние между собеседниками сократилось до одного шага. – И ты меня прости, Елена.

– За что?!

– До больницы я ни разу не молился о тебе. О бесе-искусителе молился, а о тебе – нет.

«Все женщины в больнице ходят в халатах: медсестры и посетительницы – в белых, а больные – в цветастых, – подумал Павел, глядя на отворот женского халата, шею, новенькую тесемку на шее... – Вот оно! Раба Божия Елена... Вот зачем эта встреча!»

И Павел ясно вспомнил, что *тогда* креста на ней не было. Был только один крест – его собственный. И был момент, когда цепочка зацепилась за ее грудь, и Паша испугался... Но цепочка выдержала, и юноша закинул крест на спину.

Павел посмотрел в глаза Елены и улыбнулся.

– Ты изменился, – сказала она. – Не хромаешь, глазом не косишь, бороду отпустил.

– И в здравом уме к тому же, – улыбочиво добавил Павел. – Помнишь, Елена, когда Христос изгнал из бесноватого легион бесов, люди увидели того человека одетым и в здравом уме и ужаснулись. Ты не ужасаешься – ты плачешь. Это нормальная реакция.

Женщина плакала, а мужчина неторопливо говорил: он знал, что Господь не допустит, чтобы кто-нибудь помешал разговору.

– Когда ты окрестилась?

– В прошлом году, в сентябре.

– На Воздвижение Креста Господня?

– Да, как ты догадался?

– Царица Елена... – загадочно ответил Слегин.

– Ой, Павел! – воскликнула Елена и рассказала, что после того, как выскочила из троллейбуса, бегала по ночному городу и кричала, пока не охрипла, а потом была больница, пульмонология. Кондукторша вылечилась и почти забыла причину болезни, но на следующее Рождество опять попала в больницу с воспалением легких. С середины декабря женщина взяла отпуск и упорно сидела дома, но всё-таки заболела. Это было год назад.

– Когда я окрестилась, я думала, что в четвертый раз уже не заболею. Теперь я поняла.

– Я думаю, в следующем году всё будет в порядке, – сказал Павел.

Точнее, он знал, что в следующем году всё будет в порядке. Знал он также и содержание рассказа Елены: было достаточно тогдашнего бегства в морозную ночь и нынешней тесемочки от крестика, чтобы размотать трехлетний свиток. Павел не знал одного: есть ли у Елены муж. Рассеянно слушая ее рассказ, Слегин думал: «Может, мне жениться на ней? Если спасусь я, спасется и она. Если спасется она, спасусь и я».

– Ты замужем? – спросил он.

– Да, – ответила она.

«Слава Тебе, Господи, – поблагодарил Павел. – Не дал мне, по грехам моим, тяжелого креста».

– Вы венчались?

– Нет. Но я уговорю его, обвенчаемся.

– Бог в помощь. Я помолюсь, чтобы уговорила.

– Спасибо.

– «Спаси Бог» говорить надо. Учишь вас, учишь...

– Спаси Бог.

– Ну, вот ты и улыбнулась.

– Ты правда простил меня?

– Простил. А ты простила, что я о тебе не молился?

– Простила. Но теперь-то не забывай.

– Не забуду. И ты не забывай обо мне молиться.

– Я – о тебе?

– Именно. Прощай, – сказал Павел и поцеловал женщину в лоб.

Та посмотрела на него слезящимися глазами и, не посмеяв прикоснуться губами к его лицу, поцеловала в правое плечо.

– Ну, так не пойдет! – запротестовал он, поднимаясь с колен и подавая Елене руку. – Мы теперь брат и сестра.

Они троекратно расцеловались.

– Прощай, Павел.

– Прощай, Елена.

Только Бог был свидетелем их разговора.

## Неделя третья

– Опять в этих креслах?! – возмутился Павел и принялся усердно творить молитву.

– Извини! – поспешно проговорил бес, и под человеком оказался деревянный больничный стул. – Не молись пока, пожалуйста. У меня к тебе серьезный разговор.

Сам искуситель униженно утопал в психоаналитическом кресле, расположенном по другую сторону пустого журнального столика.

– Три года назад у тебя тоже был ко мне серьезный разговор, и после него я решил выпрыгнуть из окошка, – напомнил Павел, продолжая мысленно проговаривать коротенькую молитву.

– И выпрыгнул бы, если бы тебя не помиловали, – с отвращением проговорил черт. – Человеческая трусость плюс Божественный произвол – равняется рождественское чудо... Впрочем, сейчас уже поздно об этом. Сейчас я просто хочу, чтобы ты прекратил молиться и выслушал меня. В память о той несправедливости.

– В память о той несправедливости я ежедневно молюсь о тебе. Кстати, выглядишь ты неважно: бледный, пот градом...

– А скоро и вовсе исчезну. Мне очень трудно здесь оставаться. Смилуйся, Павел!

– Хорошо. Аминь. Говори.

Павел почувствовал себя пустынным, зачем-то засыпавшим родник; и хотя ясно было, что родник никуда не делся, что его можно легко открыть и вновь напиться воды, исподволь думалось о смерти от жажды. Бес ухмыльнулся, и на столике возникла бутылка минералки.

– Чтобы не думалось, – прокомментировал он. – А вообще-то, Павел, внутренне ты поэт. Ума не приложу, отчего ты стихов не пишешь.

– Говори, зачем пришел.

– Пришел я рассказать об одном твоём грехе. Мне этот грех не нужен. Лучше уж я тебя на чем-нибудь другом поймаю.

– Мне даже Ангел-хранитель о моих грехах не рассказывал. А ты-то с какой стати?

– Повторяю для тугоухих: мне этот твой грех не нужен. Ты меня этим твоим грехом уже достал. Надо мной коллеги смеются из-за этого твоего греха.

– То есть молиться о тебе – грех, – заключил Павел.

– Догадлив, однако, – иронично сказал черт. – А раньше догадаться не мог?

– Я и сейчас не уверен, что это грех. Говорят, некий святой молился о падших ангелах. А я же не обо всех – я только о тебе...

– Наговорили на твоего святого. А ты – просто дурак, и моя задача – доказать тебе это.

– Не очень-то ты учтив, – с усмешкой заметил человек. – Доказывай, конечно, только я верю, что Бог может простить любого кающегося грешника, если он и меня простил, и отца Дмитрия.

– Я, кстати, знаком с Иваном Федоровичем.

– С искусителем отца Дмитрия?

– Так точно. Интересный чертёнок, диалектик, Гегеля цитировать любит, – с искренним воодушевлением охарактеризовал бес.

– Надо же, – удивился собеседник.

– А он вообще философией увлекается. Я-то всё больше по изящной словесности специализируюсь (псевдонимчик ему тоже я придумал), а он – голова: с Флоренским на Соловках беседовал и с Кантом тоже, за завтраком, – уточнение лукавый почему-то произнес юмористически.

– Ай да Иван Федорович! – воскликнул Павел, развеселившись. – Ты бы и себе, что ли, псевдонимчик придумал. А то неловко даже.

– Себе? Пожалуйста. Зови меня Вергилием.

– Вергилия не читал. Знаю, что жил давно и был поэтом.

– Главное – не то, что он был поэтом, – умненько произнес черт. – Однако вернемся ко мне, грешному. Настолько грешному, что молитва обо мне является грехом.

– А я по-прежнему считаю, что Бог может простить любого кающегося грешника, – упрямо спостулировал человек. – Главное – раскаяться.

– Давай-ка привлечем гегелевскую триаду, – малопонятно изрек бес. – Твое заявление было тезисом, мое опровержение будет антитезисом, а то, что в результате образуется в твоей голове, вполне можно назвать синтезом. Предположительно синтез должен быть такой: «В принципе я прав, но об этом засранце молиться греховно».

– Сначала выскажи антитезис, – предложил Павел. – А синтез – это уже мое дело.

– Разумеется, – согласился нечистый и начал излагать свои доводы. – Во-первых, Бог прощает не каждого кающегося грешника. Иуда, например, и раскаялся, и деньги возвратил, и вешаться пошел – а Бог его не остановил. Во-вторых, Бог может смилостивиться над грешником просто так, из самодурства. Твой новозаветный тезка, например, не каялся, преследовал себе христиан и в ус не дул – а Бог его просветил, рядом с Петром поставил. В-третьих, на падших ангелов милосердие Божие не распространяется, и потому молиться о нас – ошибка, то есть грех.

До этого момента черт говорил с уверенностью и снисходительностью отличника, доказывающего у доски теорему, и Павел припоминал свои школьные годы и прошлый год, и три продольные морщины всё глубже и глубже проступали на его лбу. Но после тон чертячьего рассказа изменился, стал нервным и проникновенным, и морщины на Павловом лбу обмельели: человек внимательно слушал.

– Послушай, Павел, – говорил бес. – Я ангел, хоть и падший, я слуга, посланник – не более. Я свободен в гораздо меньшей степени, чем любой человек. Скажу сразу, что в этом веке, до конца времен, ни я, ни кто-либо из бесов не был прощен и не будет. Есть надежда на прощение лишь в веке будущем, после Страшного Суда, однако *ваши* за эту надежду предали Оригена анафеме. И вновь повторяюсь, Павел: я – слуга, и смогу раскаяться лишь по примеру моего владыки.

– Но неужели вам нельзя отпасть от сатаны, как он когда-то отпал от Бога? – воскликнул человек.

– Пока еще никто не отпадал, – ответил черт. – Человекам это возможно, пока они здесь, а бесам – нет. У вас есть причастие, у вас души пластичные, вы можете грешить и каяться. А мы не можем измениться, пока Бог нам этого не позволит. Ради вас Христос Себя в жертву принес, а к нам Он только однажды заглянул – разломал ворота и души ветхозаветных праведников вывел. Это, знаешь ли, как атомный взрыв для нас было – очень страшно...

Он прикрыл глаза и замолчал, а Павлу было до слез жалко падшего ангела и хотелось молиться, молиться, молиться о бесплотном грешнике, но человек уже понимал, что так он лишь причиняет боль самозванному Вергилию, погруженному в психоаналитическое кресло.

– Ладно, я не буду за тебя молиться. Но после Суда я буду просить о тебе у Господа.

– Синтез вполне приемлемый, – оценил бес. – Благодарю. А почему ты не зовешь меня Вергилием?

– Я читал «Божественную комедию». Мне такой поводырь, как ты, не нужен.

– Bravo! – восхитился лукавый. – Тебе тогда было пятнадцать лет, а я заглядывал в книгу из-за твоего левого плеча и бранил переводчика. Впрочем, разве мог он переложить на грубый русский язык те драгоценные терцины?

– Ты эстет, – констатировал Павел.

– А кем мне прикажешь быть? – риторически спросил черт. – Наслаждаться творчеством Божиим я уже не могу – остается творчество человеческое.

Помолчали. Человек перекрестил бутылку минералки, стоящую на столе, отвинтил крышку и отпил. «Здесь могла быть ваша реклама», – подумал он.

– Остроумно, – похвалил черт. – Тебе, кстати, скоро просыпаться. И возможно, что мы теперь долго не увидимся. Ты выздоравливаешь телесно, а духовно почти здоров. Нечисть же навещает лишь нездоровых. Свидригайлов об этом очень грамотно рассуждал: мол, болезнь – это ненормальное состояние, в котором могут возникать точки соприкосновения с иным миром, и чем тяжелее болезнь, тем таких точек больше... – он сделал паузу и с потусторонним жаром продолжил: – Грех тоже является болезнью, и я верую, что когда-нибудь ты очень серьезно согрешишь, и я приду к тебе, и затащу в троллейбус, и снова уговорю выпрыгнуть из окошка! – Его облик неприятно, но очень естественно изменился. – Я хочу, чтобы ты запомнил меня таким – с клыками и копытами! Я – злой, и никакими человеческими молитовками этого не изменить! Запомни!!!

– Запомню... – пролепетал Павел, перекрестил искusstителя и проснулся.

Он проснулся в понедельник утром; за окном было сумрачно, в палате мерцала и потрескивала полудухлая лампа дневного света; паренек, угодивший в больницу за неделю до свадьбы, рассказывал анекдот:

– Умер гаишник и очутился перед Богом. Бог его и спрашивает: «Как ты жил? Плохие дела творил или хорошие?» Гаишник отвечает: «Были плохие, были и хорошие». Бог говорит: «Ну, раз так – вот перед тобой две дороги. Одна ведет в ад, другая в рай. Выбирай любую». А гаишник Ему: «А можно я здесь, на перекресточке постою?»

«Умный анекдот», – отметил Слегин и под смех остальных обитателей палаты призадумался о прошлогодних событиях, как делывал не раз и не два в эти больничные дни.

Первую светскую книгу, прочитанную в новой жизни (а это был толстенький учебник по истории России XX века), Слегин заглотив менее чем за неделю – успел до Рождества. «Ну и ну!» – подумал он и поехал на книжный рынок. Во второй год юродствования Павел привычно откладывал часть подаяния, и теперь оно пригодилось: продавец учебников и детских энциклопедий заполучил странного постоянного клиента – одетого в драную фуфайку и хромоногую. «За эти деньги в «Сэконд Хэнде» можно нормальную куртку купить, – размышлял продавец, протягивая экстравагантному книгочею красочную энциклопедию. – Вот ведь чудак!» А книгочей был просто недоучившимся отличником, и в его взгляде, чувственно оглаживающем книжные ряды, сиял жуткий интеллектуальный голод.

Перед началом Великого поста деньги кончились, и Павел спросил у того продавца:

– Можно мне сюда устроиться – книги таскать?

– Вы же хромой! – изумленно напомнил продавец.

– Могу и не хромать, – невозмутимо сообщил Слегин и прошелся спортивной походкой.

– Ну ты и жук! – восхищенно воскликнул книжник. – Я поговорю с хозяином.

Работа Павлу понравилась: теперь он ежедневно видел восход солнца, а раньше мог и проспать. С семи до девяти утра он возил тридцатикилограммовые коробки с книгами со склада на рынок, а во второй половине дня, с трех до пяти, – с рынка на склад. Возил он их сначала на санях, а потом – на тележке, по четыре коробки за раз, и в конце дня получал деньги – в месяц набегало примерно столько же, сколько и у среднезагруженного доцента, не берущего взятку. Работа идеально подходила Слегину: он успевал и на позднюю обедню, и на всеобщее бдение.

Милостыню он просить перестал, хромать – тоже, рассудив, что и в церковь, и на книжный рынок ходят отнюдь не самые глупые люди, что взаимопроникновение этих двух групп людей неизбежно, а потому неизбежно и разоблачение. Половину жалованья Павел раздавал нищим, а на остальное покупал книги, еду, одежду. Марья Петровна нарадоваться на него не

могла и чуть ли не ежедневно кормила пирожками-«соседками», однако нахмурилась, узнав, что он сходил в поликлинику и изумил врачей, в результате чего денег ему больше платить не будут.

– Ну, работал бы ты и те деньги тоже получал бы. Что же ты такой несообразительный?.. – горестно произнесла соседка по коммуналке.

– Не хочу обманывать, – ответил Слегин.

– А раньше что же?.. Ой, извини, Павел!

– Что? – Он просто не понял.

– Ну, ты ведь еще два года назад выздоровел... На Рождество. И глаз у тебя с тех пор прямо смотрит, и хромать ты иногда забывал...

– Плохой из меня конспиратор, – усмехнулся он. – А почему же я, по-вашему, притворялся?

– Ну, на работу сейчас сложно устроиться, а так хоть что-то платили... И еще милостыня – ее ведь тоже не всякому дадут... – с запинкой проговорила она и, робко глянув в лицо собеседника, вздрогнула и воскликнула: – Павел! Павел, прости меня! Ой, прости меня, дуууууу!..

– Бог простит. И вы меня простите.

– За что?

– За соблазн.

Слезы опротивею скатывались по его кумачовым щекам и стыдливо прятались в зарослях бороды. «Вот так юродивый! – мысленно повторял Павел. – Ну и юродивый!»

То же самое он повторял и в начале года, когда совмещал юродствование Христа ради и чтение светской литературы. Он всё чаще и чаще думал, что юродствование в современных условиях – это скорее антиреклама христианства, нежели проповедь. «Сейчас проповедовать надо по телевидению – а кто меня туда пустит, юродивого? – размышлял он. – Обратиться к правителю с обличением может теперь каждый: голову не отрубят. Иван Грозный слушал блаженного Василия, потому что боялся Бога. А нынешние только шантажистов и киллеров боятся. Да и вообще, фуфайки нынче не в моде...»

Устроившись на работу и сменив одежду, Слегин не прекратил жить церковной жизнью – он даже решил восполнить некоторый пробел в образовании и принялся за богословскую литературу. Поначалу она показалась ему смешной: слишком уж грубы и приблизительны были слова по сравнению с тихим внесловесным знанием, открытым Павлу той рождественской ночью. Однако вскоре внесловесное знание куда-то исчезло, а богословская литература осталась, и читарь полюбил ее, заметив там блики прежнего сияющего знания и горько сожалел о потере.

Осенью Слегин в поисках тех же несказанных бликов купил старенький и дешевый двенадцатитомник Достоевского. В этих книгах с цветными и черно-белыми иллюстрациями слово «Бог» писалось с маленькой буквы, а шрифт был мелок и изящен. Рассказы из последнего тома («Вечный муж», «Мальчик у Христа на елке», «Кроткая», «Сон смешного человека», «Примечания»; нет, «Примечания» – это не рассказ), Павел дочитал уже в больнице, в прошедшие выходные.

– Апофатическое богословие... – задумчиво пробормотал он, дочитав. – Может быть, и так.

– Что ты там бормочешь? – осведомился старичок Иванов.

– Ничего. Книга очень хорошая. Читал Достоевского?

– Нет. Мура это всё. Эх, пожить бы еще немножко!

Ночью Павлу приснился бес, а утром двадцатилетний жених рассказал анекдот про гаишника.

Итак, было утро понедельника – обычное больничное утро, добротное сконструированное из кирпичиков грубой реальности. Эти незамысловатые кирпичики – такие, как холодок зубной пасты во рту, прохлада градусника под мышкой, влажное урчание ингалятора, клейкость перловой каши, расширяющаяся боль от укола и последующая кратковременная хромота, – эти предсказуемо-узнаваемые кирпичики были подогнаны друг к другу столь же плотно, как и блоки египетских пирамид. Данное обстоятельство радовало Слегина, поскольку при таком построении яви в ней просто не мог распахнуться люк, возле которого Павел оказался перед пробуждением, – люк, зияющий в ледяной открытый космос.

– Ну, блин, сестричка! Ну, блин, прикололась! – потешно возмущался Колобов, вернувшись после уколов в палату № 0. – Это не Светка, это другая какая-то – черненькая какая-то чувырла. Я уже, короче, спустил штаны, стою весь на нервах, а она мне: «А Колобову сейчас будет больно!» Вот ведь зараза!

Смеялись все четверо, и это тоже было незыблемым реальностным кирпичиком.

На обходе Мария Викторовна сказала Слегину, чтобы он шел на дыхательную гимнастику вместе с Колобовым, а самому Михаилу напомнила, что в двенадцать – бронхоскопия.

– Помню, – мрачновато ответил тот.

Гимнастика Павлу понравилась: проводилась она в специальном зале с зеркалами и шведскими стенками, многие упражнения были знакомы со школьной поры и потому приятны, а некоторые обладали забавной специфичностью. Несмотря на то, что физрук, стройная и флегматичная молодая особа, укоренилась на стуле и давала лишь словесные указания, – дюжина больных выполняли упражнения правильно и с удовольствием. Удовольствие было естественным следствием того, что люди, занимавшиеся дыхательной гимнастикой, были не столько больными, сколько выздоравливающими. Наиболее интересным Слегину показалось, что больным с правосторонней пневмонией позволялось сгибаться только в левую сторону, а левосторонним – наоборот. И еще он немножко испугался, когда было получено указание разбиться по парам и поочередно колотить друг друга по согнутой спине, испугался же он того, что Колобов по рассеянности пришибет его. Но обошлось.

Около полудня Михаил отправился на бронхоскопию, а к жениху пришла невеста.

– Привет, Леш, – сказала невеста.

– Привет, Люб, – ответил жених.

Павлу вдруг подумалось, что, когда девушка уйдет отсюда, поверх свободного свитера она наденет лохматую шубу из шкуры неизвестного науке зверя, и на шубе той непременно окажется проплешина, кое-как прикрытая шерсткой. Увидев эту проплешину чуть более трех лет назад, в том самом троллейбусе, Слегин заметил, что над проплешиной явно поработали расческой, даже бороздки от зубчиков видны, и он подумал тогда (а может, впрочем, и не подумал), что подобная жалкая попытка молодиться роднила шубу с лысеющим мужчиной. «Вообще-то, – размышлял Павел, внимательно глядя на Лешину невесту, – парень у нее теперь другой. Может, и шуба другая».

– Температура не спадает, – нервно жаловался Леша, – и кашель – с-сука!.. Врач говорит, метрогил слабоват – надо абактал покупать. У них, типа того, нет. А он, сука, дорогой!..

– Леша, Леша, успокойся – сегодня же купим, – заботливо баюкала Люба. – Тетя Тая тебе барсучьего жиру вечером принесет и этот, как уж его!..

– Вот, на бумажке!.. Только ты, Люб, не забывай: нам на свадьбу «бабки» нужны.

– Зайдем, если что. Главное – чтобы ты поправился, – сказала невеста, чуть помедлила и грустно добавила: – А если улучшения не будет, придется переносить.

– Щаз! Разбежались! – проорал жених, вскакивая с кровати, постоял, сел и заговорил тише: – Мы и так сколько туда вбухали: продукты, зал, камера, приглашения разослали. Мишка из Москвы приедет!.. Исключено, короче. Врач сегодня тоже говорила – переносить. Типа,

говорит, загнешься. Невесту, типа, на руках к памятнику понесешь – и шлепнешься. Да я на войне был – не загнулся!

Парень надрывно раскашлялся, отдышался, проморгался и спросил:

– Шарики купили?

– Что?.. – вздрогнула невеста, нежно поглаживавшая его ладонь.

– Шарики, спрашиваю, купили? Воздушные. Для украшения зала.

После того, как Люба ушла, Леша посмотрел на Михаила, вернувшегося с бронхоскопии и минут пять лежавшего на кровати пластообразно и каменнолико, – посмотрел и поинтересовался:

– Как оно?

– Ничего хорошего, – ответил Колобов. – Она мне в одну ноздрю трубку пихала, пихала – так и не пропихнула. А в другую ничего – пролезла. Она как посмотрела, так и говорит: «Ну у тебя там, – говорит, – и помойка», – он через силу посмеялся и спросил: – А ты где воевал? Я тут краем уха...

– В Чечне.

– У меня брательник тоже в Чечне воевал.

– Живой?

– Да.

– Повезло.

Несколько минут в палате молчали, а потом Леша заговорил:

– Я полгода назад оттуда вернулся. Служил снайпером. Меня здесь баба ждала – переписывались, всё такое. А как я вернулся, мы через месяц разбежались. Она говорит: «Ты, типа, другой стал, агрессивный». А оттуда, вообще-то, сложно беленьким вернуться. Вот Любка – она поняла... – Он ненадолго примолк и негромко сказал: – Я когда своего первого мальчика убил, полдня блевал. Потом меня спиртом отпаивали – держали и вливали в глотку. Я тогда понял, что если бы не я его, то он бы меня, – и всё по местам встало... А мы еще пули со смещенным центром тяжести использовали. И вот если обычной, например, пулей в человека попадешь, то он может еще метров пятьдесят пробежать и ничего не почувствовать. А если, например, пуля со смещенным центром тяжести в руку попадает, то руку отрывает на хрен!.. Я в того мальчика тоже такой пулей выстрелил, в голову. Нас учили, что в голову – это наверняка. Бывают, правда, редчайшие случаи, когда пуля между полушариями пройдет, навывлет... Выстрелил, короче, а у нас оптика очень хорошая была, видно – как вас сейчас... И там вместо головы – фонтан какой-то из крови и мозгов, головы уже не было!..

В палате тягостно молчали, старичок Иванов беззвучно плакал, а потрясенный Слегин думал о том, как страшно умереть вот так – внезапно, без покаяния...

\* \* \*

Слегин спал, и ему снилось позднее зимнее утро, черно-белое кладбище и цветные небо, солнце, купол. Павел стоял на обочине дороги, ведущей к храму, и просил милостыню. Прислушавшись к себе, он вдруг понял, что молится о людях, идущих к поздней обедне, и больничному сновидцу стало стыдно, как бывает стыдно ложиться спать, не омывшись, на чистые простыни.

Юродивый ощутил внезапный стыд и, объяснив его собственной греховностью, помолился и о себе. Вскоре справа от него солнечно полыхнуло и он увидел лучезарного духа. Перекрестив неведомого посланника, человек улыбнулся, перекрестился сам и поклонился Ангелу.

– Хранителю мой святой, а почему ты такой внезапный и яркий? – поинтересовался Павел, восклонившись и улыбнувшись.

– Но ведь ты же не вздрогнул и не сощурился, – отвечив Ангел слегка смущенно. – А для других я невидим.

- Прости меня! – воскликнул человек, пав на колени, чем вызвал смех соседних нищих.
- Бог простит. И ты меня прости, – молвил небожитель, помогая Павлу подняться.

Некоторое время они совместно молились о прохожих: Ангел подсказывал имена и раскланивался с коллегами, а человек поименно молился о мимоидущих людях и тоже кланялся Ангелам-хранителям, становившимся на мгновение видимыми, будто в темноте на них направляли луч фонаря.

– И как голова не отвалится... – пробормотала соседняя нищенка, завистливо глядя в плоску Павла.

Тот улыбнулся, взял плоску с подаянием и, пересыпав монетки в кружку соседней нищенки, вернулся к улыбающемуся Ангелу и продолжил молитву.

Когда людской поток иссяк, юродивый спросил:

– Мне идти на службу?

– Как хочешь, – ответил Ангел. – Раннюю обедню ты уже отстоял, так что можешь и не ходить.

– Значит, домой?

– Подожди немножко. Сейчас сюда спешит отрок Геннадий. Он всегда опаздывает на службу минут на двадцать или полчаса и по пути непрерывно творит молитву Иисусову. Я хочу, чтобы ты помолился о нем.

Павел исполнил желание Ангела.

– Я хочу, чтобы ты увидел его и запомнил, – продолжил небожитель.

– А зачем?

– Может случиться так, что тебе это будет необходимо. А пока я кое-что расскажу о нем...

Павел хорошо запомнил ангелов рассказ и того непунктуального паренька, бросившего монетку в его плоску, – очень бледного, несмотря на мороз и тяжелое дыхание.

– Святой Ангеле, – обратился Павел после того, как Геннадий скрылся за церковной оградой. – Я забывчив и недогадлив, а ты всё видишь. Расскажи мне о моих грехах.

– Человек, видящий свои грехи, выше человека, видящего Ангелов, – с улыбкой процитировал вопрошаемый. – Расти, Павел.

– Постараюсь. Прости меня.

– Бог простит. И ты меня прости.

– Не уходи, Ангеле!

– Я уйду в невидимость, но я рядом.

– Последний вопрос, Ангеле! Почему я больше не вижу бесов?

– А разве ты хочешь их видеть?

– Нет.

– Если захочешь вновь видеть их, попроси об этом у Господа или основательно согреши.

Но вообще-то не советую.

– Ангеле!..

– До свидания, Павел.

Слегин проснулся заплаканным, утерся пододеяльником и около получаса думал о чем-то настолько самоуглубленно, что не замечал окружающего. Наконец он вынырнул из собственных глубин и увидел справа от себя, за окном, мутную предрассветность, а слева, с соседней кровати, услышал хриплое дыхание старичка Иванова.

– Коля! – позвал Павел вполголоса. – Тебе плохо? Может, кислородную подушку?

– Да! – придушенно прохрипел тот.

Слегин вскочил, наскоро оделся и поспешно пошел за медсестрой: теперь он уже не задыхался при ходьбе. Было раннее утро среды, на медпосту сидела сестричка Света и, высунув

кончик языка, что-то медленно и красиво записывала в большой клетчатой тетради при желтом свете настольной лампы.

- Доброго здоровья.
- Здравствуйте, Павел.
- Иванову нужна кислородная подушка.
- Опять?! – воскликнула девушка и сорвалась с места.

Вскоре на груди Иванова, словно огромная ромбообразная бутылка, лежала кислородная подушка, и он жадно сосал ее содержимое через беленькую пластмассовую соску. Включили свет, разнесли градусники, потом рассвело и свет выключили, а старичок всё сосал и сосал кислород, уже без жадности, а подушка всё уплощалась и уплощалась, перемещаясь из трехмерного в двухмерное пространство. Накислородившийся Коля порозовел и повеселел, а бездыханная подушка, скатанная рулетиком, была унесена прочь.

На завтрак еще не звали, а Иванов уже успел принять два укола, выдышать подушку кислорода и теперь лежал под капельницей. Когда рот его освободился от соски, он сказал:

- Спасибо, Павел. Я сегодня точно бы помер, если б не ты.
- Всё в руках Божьих.

– Это точно. И еще говорят, что перед смертью не надышишься. – Он замолк, слушая, не скажет ли сосед чего-нибудь успокоительного, но тот был тих, и пришлось продолжить: – Я чувую, не выйти мне отсюда. Не сегодня, так завтра – в ВЧК. – Вновь обоюдное молчание и вновь необходимость договаривать: – В деревне – сын беспутный, пропьет всё на... Прости, Павел.

– Бог простит. И ты меня прости.

– Что же мне делать?

– Ты крещеный?

– Да.

– Тогда – собороваться.

– Ничего себе советик, – усмехнулся Иванов. – Я, можа, и не помру, а ты меня уже отпевать снаряжаешь.

– Соборование – это не отпевание, – терпеливо объяснил Слегин. – Соборование – это одно из семи церковных таинств, помазание елеем больных. После этого таинства совсем не обязательно умирать. Наоборот – иногда происходит чудесное исцеление. И самое главное – при соборовании прощаются грехи, о которых забыл, и можно исповедоваться в грехах, которые помнишь. И еще сразу после соборования можно причаститься. А насчет помереть или не помереть – это уже как Бог даст.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.